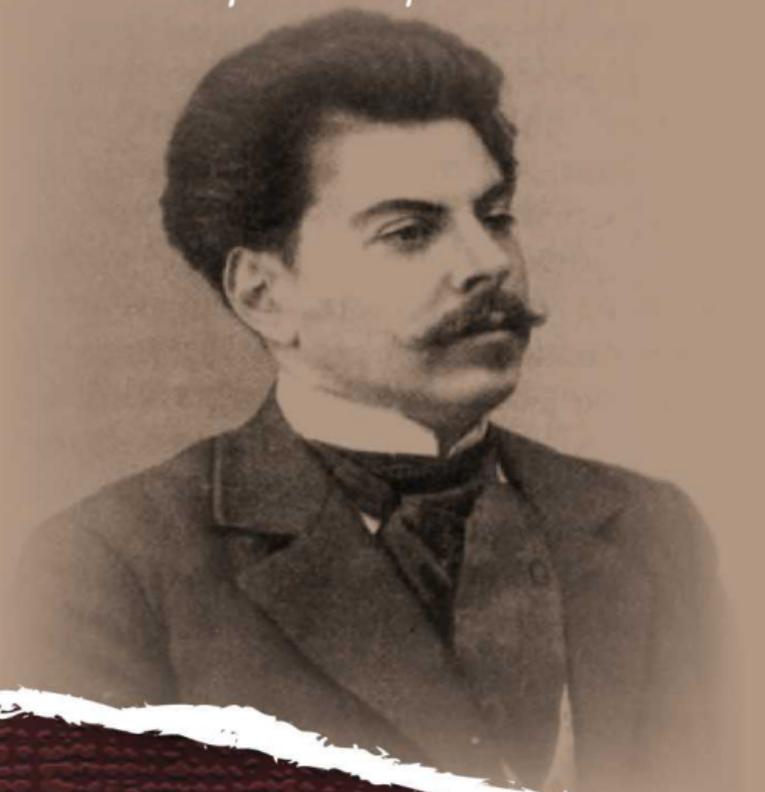


*Н. Н. Брейко-Брейковский*



*Парижские огни*  
*Сборник*

DirectMEDIA

Директ-Медиа, Берлин, 2016

ISBN: 978-5-4475-8946-2

FB2: "ANSI", 132723826272585457, version 1.0

UUID: {74D7688F-E90D-4DC8-8B52-DC470E5E8FA5}

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

# Николай Николаевич Брешко- Брешковский

## Парижские огни (сборник очерков)

В наши дни к читателю возвращаются „арестованные“ еще недавно книги, все больший интерес вызывают творчество и судьбы неизвестных зарубежных писателей-соотечественников, живших и писавших в эмиграции. К ним в полной мере можно отнести и творчество русского писателя, журналиста Николая Николаевича Брешко-Брешковского (1874–1943 гг.), чьи произведения приобретают в наше время значимую общественную ценность.

Будучи корреспондентом еженедельного эмигрантского издания в Париже, Н.Н. Брешко-Брешковский под различными псевдонимами вел отдел хроники „Парижские огни“. Очерки, опубликованные в нем, нашли свое место на страницах этого сборника. Статьи-воспоминания рисуют портреты людей мира литературы и искусства: Л.Н. Толстого, Теффи, Марка Алданова, В.В. Верещагина и многих других.

# Содержание

#1	0004
В Ясной Поляне у графа Льва Николаевича Толстого	0005
Парижские огни (А. В. Руманов)	0018
Парижские огни (О. А. Беляева, Уне Байе, Базиль Захаров)	0024
Книга, человек и анекдот (В. Н. Унковский)	0035
Книга, человек и анекдот (С. В. Жуковский)	0041
Четыре звена Марка Алданова	0046
Красные каблучки Тэффи	0054
Русский художник В. В. Верещагин	0063
#10	0114

**П**редакцией Л. М. Суриса



**Москва-Берлин 2016**

УДК 82

ББК 83.3(2)6

Б87

**Брешко-Брешковский, Н. Н.**

Б87 Парижские огни: сборник очерков / Н. Н. Брешко-Брешковский; под ред. Л. М. Суриса — М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 75 с.

© Сурис Л. М., редактор, текст, 2016

© Издательство „Директ-Медиа“, оформление, 2016

# В Ясной Поляне у графа Льва Николаевича Толстого

За дверью послышался немолодой мужской голос:

— Так вот вы приготовьте это на завтра, а теперь свободны. ступайте.

Это он, это его голос!

Мы переглянулись с Измайловым и — это не фраза — буквально замерли оба.

Распахнулись низенькие двери. Трое бо-  
сых ребятишек шмыгнули мимо и затопта-  
ли вниз по лесенке.

А на пороге стоял Лев Николаевич в шел-  
ковой шапочке, старом летнем пальто и вы-  
соких сапогах.

Он поздоровался и спросил:

— Кто вы такие и чем занимаетесь?

Станный в чьих-нибудь других устах, во-  
прос этот вышел у него так мягко, славно, рас-  
полагающе.

Мы назвали себя, сказали, что пишем рас-  
сказы, повести, работаем в газетах.

Толстой повторил:

— Рассказы, повести. все это для меня кажется теперь таким далеким, таким далеким!..

Я не выдержал:

— И это вы говорите, Лев Николаевич, вы, написавший такие бессмертные, громадной художественности романы, как "Война и мир" и "Анна Каренина"?!

Толстой улыбнулся тихо и чуть заметно, чарующей улыбкой.

— Я этим вещам не придаю серьезного значения; их и теперь уже начинают забывать, а лет через пятьдесят и совсем забудут.

Конечно, хотелось возражать и возражать. Конечно, Толстой-художник переживет многие десятки поколений. В глухих городишках Лигурийского побережья я встречал итальянцев, зачитывавшихся "Анной Карениной".

Но слова великого писателя звучали такой верой, такой незыблемой искренностью, что протестовать не хватало духу...

Лев Николаевич кивнул на дверь, за которой скрылись босые дети:

— Это гораздо нужней и полезней, чем художество.

Под словом "это" разумелась деятельность последних десятилетий резко порвавшего с искусством Льва Николаевича. Его богословско-нравственные книги и беседы.

Толстой сидел сбоку небольшого письменного стола. Все в этой комнате было небольшое, уютное, интимное. И этажерка с книгами, и столик между двумя креслами с крохотной лампочкой. Только громадный клеенчатый диван с прямой спинкой и прямыми подлокотниками напоминал простор и ширь былых дворянских усадеб.

Этот диван пришлый в Ясной Поляне.

И у него своя история.

Я смотрел на Льва Николаевича, как говорится, во все глаза. Ни один из бесчисленных портретов не передает его таким, какой он на самом деле.

Повсюду — суровое, иногда прямо жестокое выражение. Ничего подобного! Какая-то мягкая, чарующая кротость, разумная кротость во всем его облике. Кротость человека, написавшего "о непротивлении злу". Нет даже и призрака дряхлой старости. Ясные, зоркие серые глаза пытливо, нащупывающе

смотрят под пучками характерных толстовских бровей, Лев Николаевич не велик ростом, но впечатление крупной фигуры. Руки красивые, белые, даже бледные; молодые без морщин и неизбежных желтых пятен старости. От физического труда не загубели ничуть.

Коснулись текущих событий. К Думе Толстой относится отрицательно.

— Плохая Дума... Я не понимаю этого... Собрали людей с бору да с сосенки, посадили их в одно место и сказали: "Думайте!" Разве можно думать по заказу?.. К тому же большинство не знает народа, не любит его, не желает знать его истинных нужд. Нет, нам не ко двору парламентаризм. Не в духе он русского народа! Нам нужно что-то другое, что именно, я не знаю, но только не парламентаризм. Пример Европы показал, что и там он не нужен. Далек я от того, чтоб защищать и правящий класс. Он виноват, ужасно, бесконечно виноват, во всем, что теперь делается в России. Да, разложение полное. Какое всеобщее одичание, как притупились и выродились во что-то зверское, чудовищное азбучные нравствен-

ные понятия! Вчера вот пришли ко мне двое безработных: жалкие, голодные, оборванные. Денег просят:

"Дайте нам на револьвер!" — "Зачем нам револьвер?" — "Мы хотим убить наших врагов, тех, кто против нас."

С печальным лицом и с грустью в голосе рассказывал Лев Николаевич, но нельзя было не улыбнуться. К кому угодно могли обратиться безработные со своей нелепой и жестокой просьбой благословить их на убийство, но только не к Толстому, выстрадавшему свое непротивление злу и на днях перенесшему смерть близкого родственника от руки таких же безработных[1].

Я спросил:

— Лев Николаевич, в дни свобод было напечатано в газетах ваше письмо к императору Александру III[2] <sup>[3]</sup>. Получили ли вы на него ответ в свое время?

— Нет, никакого.

— А это правда, что государь сказал по поводу вашего письма: "Толстой хочет, чтобы я его сослал в Соловки, но я ему не сделаю этой рекламы".

— Правда.

Лев Николаевич спрашивал у нас, что выдвинула новейшая литература самобытного, яркого? В свою очередь мы интересовались узнать его мнение о том или другом писателе.

Отдавая должное Горькому и Леониду Андрееву, он ставит им в минус их искусственность, манерность.

— Когда читаешь вещь, автор должен ступать за картинами, образами и героями; его не должно быть видно. Этим грешат и Андреев и Горький; они поминутно выглядывают между строк каждый по-своему. Вот кого я считаю самым талантливым из молодых — это Куприна. Прекрасная школа, полный объективизм. Очень хороши его картинки казарменной жизни. "Поединок" растянут, длинен, но маленькие рассказы доставляли мне большое удовольствие; мы их вслух читали.

— Что вы скажете о Короленко?

— Не нравится. Тенденциозен.

Из поэтов нынешних Толстой ценит очень Ратгауза. По его мнению, в стихах Ратгауза много музыкальности, искренности и красоты.

Вошел слуга:

— Там учитель приехал с Байкала.

Лев Николаевич встал:

— Сейчас, простите...

И вышел твердой походкой, слегка согнувшись.

Мы остались одни. Уже не было солнца, уже сгущался вечер. В стеклянную дверь балкона был виден старый запущенный сад. Если бы он был другой — аккуратный, симметричный, — это не шло бы к Толстому.

Послышались быстрые женские шаги, и, шурша платьем, обрисовалась в дверях Софья Андреевна. Графиня сразу овладела разговором, и через минуту нам казалось, что мы уже давно, давно гостим в Ясной Поляне.

По поводу возраста Льва Николаевича Софья Андреевна заметила:

— Я немногим его моложе, мне шестьдесят три года. Если бы кто другой сказал, я не поверил бы! Прекрасный цвет лица, ни одной морщины, ни одного седого волоса. И это у матери девяти детей!

Какая великолепная, неувядающая пара — Софья Андреевна с Львом Николаевичем.

— Вы тяжело чувствуете, графиня, утрату вашего брата?

Бодрое живое лицо Софьи Андреевны омрачилось.

— Ах, это большое для меня несчастье!.. Я так любила покойного брата. Не потому, что он был мне близкий, но это был редкой души человек. Бескорыстный, он всего целиком отдавал себя на служение безработным. Тяжело ему было ладить с этими озлобленными людьми. Когда я была в Петербурге, совсем недавно, он мне жаловался, что они хватали его за горло, угрожая. "Мы тебя убьем!.." — "Что ж, убивайте", — отвечал брат.

В конце концов они исполнили свое обещание. Вообще теперь люди превратились в зверей. Вам рассказывал Лев Николаевич... на револьвер просили.

— Но у вас здесь, слава богу, спокойно?

— Не совсем. На днях мы были обворованы. Мужики соседней деревни украли у нас двадцать девять дубов.

Софья Андреевна занята капитальным трудом. Она пишет подробные воспоминания, обнимающие собой пространство времени

больше полувека. Год за годом. День за днем. Теперь она остановилась на рубеже семидесятых и восьмидесятых годов.

Книги эти будут изданы за границей одновременно на нескольких языках.

Каждое слово графини дышит теплой, вдумчивой любовью к Льву Николаевичу. Взяв себе жизнь созерцательную, он все дела предоставил своей умной, энергичной жене. Она ведет переписку, переговоры.

Одна крупная заграничная издательская фирма предлагает миллион рублей за собрание сочинений Толстого.

— Но я не могла согласиться. Они желают в полную собственность.

— Теперь у нас нет нужды, но прежде, давно, мы были совсем бедные. Приходилось самой шить и для себя и для детей. Все они родились вот на этом диване; на нем же родился и Лев Николаевич.

У графини богатые литературные воспоминания. Картинно и живо набросала она одно из посещений Тургеневым Ясной Поляны. Он был весел, обаятелен и проплясал канкан, завезенный им из Парижа.

Встало перед нами многое далекое и забытое. Лев Николаевич в молодости сильно играл в карты и на биллиарде. В короткий срок он поплатился двумя именьями. Однажды в ночь он проиграл маркеру пять тысяч. После этого он перевелся на Кавказ, где жил скромно до чрезмерности, на несколько рублей в месяц.

В свою последнюю поездку в Петербург Софья Андреевна побывала в Думе. Не понравилась ей Дума.

— Я предполагала, что услышу дело, а вместо дела, какой-то Озоль или Мозоль битый час говорил о том, как у него совершали обыск.

Вошел Лев Николаевич и отобрал с этажерки несколько брошюрок для учителя с Байкала. Ушел и вернулся к нам. А Софья Андреевна покинула кабинет, чтоб распорядиться чаем.

— Лев Николаевич, — обратился я, — Анатолий Федорович Кони говорил как-то мне о том впечатлении, какое произвела на него в чтении ваша повесть "Хаджи-Мурат"[4]. Он в громадном восторге. Думаете ее печатать?

— Не знаю. может быть. Потом.

Измайлов полюбопытствовал:

— А вообще у вас много художественных замыслов, Лев Николаевич?

— Замыслов много, и чем дальше, тем их больше. но удастся ли осуществить их? Все меньше и меньше времени остается. Дойдем-те чай пить.

Мы прошли во временную столовую. Временную потому, что в доме идет ремонт, и Толстые ютятся в нескольких комнатах. Мы уже были за столом, как подошли с прогулки Александра Львовна и доктор, Лев Николаевич сел в сторону у открытого окна и не пил чай. Александра Львовна откупила ему бутылку с кефиром.

Коснулись живописи, Лев Николаевич интересовался, кого выдвинула за последнее время молодая школа. К символистам и декадентам не лежит его сердце. В пластическом искусстве, как и в литературе, он ценит искренность и реализм. Любимцы его: Репин, Ге, Суриков, Поленов, Виктор Васнецов, Нестеров...

— Какой больше всех ваших портретов

нравится вам?

— Передающий меня лучше других, по-моему, портрет Крамского.

Оказывается, копия с Крамского, которую мы видели в гостиной, написана Софьей Андреевной. По словам графини, это была ее первая попытка в живописи. Попытка блестящая, ибо можно было думать, что портрет копирован опытным, владеющим техникой мастером[5].

С Измайловым, магистрантом духовной академии, Лев Николаевич долго беседовал на богословские темы.

Единственный раз в жизни пришлось Толстому иметь дело с Победоносцевым. Неприятное осталось впечатление.

— В восемьдесят первом году я написал ему большое письмо по поводу казни царевубийц. Победоносцев ответил мне. Он доказывал, старался убедить, что смертная казнь совершенно в духе христианства. Скверное было письмо.

— Лев Николаевич, это правда, что Победоносцев[6]служил вам натурщиком для Каренина?

— Ни Победоносцев, ни Валуев[7], как думали некоторые. Каренин, фигура созданная. Догадки же относительно "Войны и мира" имеют основание. В семье графов Ростовых много портретного сходства с нами, Толстыми.

Незаметно бежало время. Уже одиннадцать часов. Нам пора ехать в Тулу к ночному поезду.

Простились, вышли. В темноте позванивали бубенчики. Дорогой мы делились впечатлениями. И каждый признался, что вечер, проведенный в Ясной Поляне, один из самых светлых, чарующих в его жизни.

А кругом густилась темная, тяжелая, слепая мгла. Пруд меж косматыми деревьями мнился населенным кошмарными призраками.

В открытом поле лошади сбились с дороги. Накрапывал дождь.

# Парижские огни (А. В. Руманов)

Это было давно, очень давно, а все-таки было.

В Петербурге был известен салон большой просвещенной барыни, Зои Юлиановны Яковлевой.

Кто только не посещал его, начиная от великих князей, артистических знаменитостей, красивых светских дам и кончая будущими знаменитостями в роде, например, вышедшего из Императорского Училища Правоведения Н. Н. Евреинова.

Часто бывал у Яковлевой подвижной, румяный, ежиком остриженный университетский студент с умными, живыми, необыкновенно ярко-синего цвета, глазами.

Говорил он цветисто, красноречиво и любил щегольнуть, — тогда на это была мода, — модернизмом слова и мысли.

Помню его фразу, скупую, из двух слов.

— Филигранный Христос.

По тогдашним временам это было ново и смело.

О студенте заговорили. Им заинтересова-

лись, его стали приглашать в другие салоны.

А через несколько лет он уже был петербургским представителем московской газеты "Русское Слово". Сытин души в нем не чаял и обставил его с невиданной в газетно-журнальном мире роскошью. Чуть ли не целый особняк на большой Морской, фаланга секретарей и такая же фаланга пишущих машинок.

Это было, как говорится: "в коня корм".

Молодой представитель "Русского Слова" делал для газеты не только возможное, а и невозможное.

Столичная информация с проникновением в самые заветные сферы поставлена была на высоту небывалую.

Близость сытянского "резидента" с графом Витте открывала для "Русского Слова" богатые возможности.

Но кто же он, этот маг и чародей, начавший с "филигранного Христа" в салоне Яковлевой и продолжавший не по дням, а по часам увеличивать значение и тираж московской газеты?

Аркадий Веньяминович Руманов.

Он дружил со всею русской литературой. Блок несколько раз весьма лестно отзывается о нем в своих воспоминаниях. Да и не только один Блок...

Руманов был, — да и остался таковым, — на редкость обаятельным человеком, человеком "в замше" в самом положительном значении этого слова. Мягкость, чуткость, отзывчивость. Он привлекал сердца и делал все, что мог, хлопотал, устраивал, помогал.

Грянула "великая, безкровная"...

Большевики, зная крупные организаторские способности Руманова, а также и тонкое редакторское чутье его, предлагали ему сделаться у них едва ли не каким-то красным журналистическим папою, но он уклонился от роли газетного первосвященника у красных, не колеблясь, перешел в белый стан и очутился в Париже.

В эмиграции, он не зарыл в чужую землю организаторских талантов своих.

Официально занимая скромную должность личного секретаря Вел. Князя Александра Михайловича, Руманов в действительности был его вдохновителем, министром

пропаганды и министром иностранных дел.

Если покойный великий князь сделал несколько блестящих "турнэ" по Америке, прочел там сотню, другую содержательных и весьма полезных лекций о России, выпустил ряд соответствующих книг и брошюр и в конце концов оставил после себя большой том захватывающе-прекрасных воспоминаний, то этим он всецело был обязан Руманову.

Бывший студент салона Яковлевой, сверкавший модернистическими парадоксами и молодым блеском ярко-синих глаз, спустя десятки лет остался таким же молодым и свежим. Когда он мог, он охотно и широко помогал эмигрантам-соотечественникам, не только содействием и протекцией, а и просто деньгами. В последствии, волею-неволею вынужденный сократиться и сжаться, он ни на один миг, однако, не прекращал благотворительной деятельности своей, уже правда, силою обстоятельств в более скромных пропорциях...

Многогранны связи Руманова, в самых разнообразных кругах. Он — свой человек в живой портретной галерее французских писате-

лей, он близок к знатному титулованному окружение короля Альфонса XIII, он ведет оживленную корреспонденцию с американскими финансистами, учеными, политическими и общественными деятелями.

К нему идут за советом, с его мнением считаются.

Свое влияние он употребляет сплошь дарядом, буде представиться только удобный на пользу России и русского дела.

Друзья пристают к нему:

— Вы близко знали и знаете столько русских и иноземных знаменитостей. Какие интересные воспоминания могли бы вы дать.

Журналист, столь же даровитый, сколь и ленивый, Румянов внял наконец этим настойчивым голосам. Он приготовил к печати любопытнейшую книгу.

Да, это воспоминания, это встречи, это имена, одно громче другого, но не ищите в этой книге характеристик, установленного образца. вы их не найдете. Это — цепь таких же блестящих, как и сам Руманов, анекдотов.

В нескольких десятках строк, в живых диалогах, встают во весь рост Куллидж и Гувер,

Яков Шифф, Витте, Милюков, Гучков, Дорошевич, священник Петров, Сытин, Фофанов, Василий Немирович-Данченко, Путилов, Теффи, Куприн, Бунин, Кутель, Рерих; Репин, Блок, Мережковский, Андрей Белый, Брешковский, Морис Декобра, Бриан, Пуанкарэ, Клод Фарер... Но не довольно ли и этого перечня? Около двухсот имен вошло в книгу Руманова.

Такой "анекдотической" хрестоматии еще не было, пожалуй, ни у кого и никогда.

Ее ждут, просят для напечатания "кусочками", в виде легкой "артиллерийской подготовки".

Руманов сумел примирить непримиримое: по натуре своей человек в высшей степени снисходительный, даже всепрощающий, он и человеческие "анекдоты" свои облек в такую же форму. Но ни пресности, ни слащавости нет и следа. Каждая строка интересна, волнует и захватывает.

*Мата д'Ор*

# Парижские огни (О. А. Беляева, Уне Байе, Базиль Захаров)

## 1

Несколько лет тому назад Морис Декобра, романист, переведенный на десятки языков, и с удовольствием зовущий себя "Морисом Анатольевичем", сделал мне большую любезность, познакомив меня со своим издателем Бодиньером.

В ответ я пригласил Мориса Анатольевича позавтракать со мною в "Ренессансе", что на плас Альма.

Внезапно телефонный звонок:

— Говорит Декобра. Вы разрешите мне приехать вместе с дамой?

— Буду очень рад.

Через несколько минут, — Декобра живет в двух шагах от площади Альма, — появляется он, бритый, со скептической улыбкой на тонких губах, и вместе с ним, молодая, лет тридцати, блондинка. оказавшаяся Ольгой Александровной Беляевой.

Теперь, спустя годы, все газеты и все люди кричат о счастливцах — булочниках, парикмахерах, угольщиках — выигравших в Национальную Лотерею до пяти миллионов франков.

До чего бледнеют эти колоссальные выигрыши, с ясного неба упавшие, по сравнению со сказочными карьерами кое-кого из нашей отечественной эмиграции.

Возьмем упомянутую Ольгу Беляеву.

Жена армейского офицера, вернее, вдова, — он погиб то-ли на Перекопе, то-ли еще раньше, под Царицыным.

Женщина очутилась на чужбине, в бедности и "без языков", — она потом овладела ими. Внешность: женщина, как женщина, особенно среди букета международных красавиц Парижа, Берлина, Лондона.

Но, увлекается ею германский финансист Гольд-смит, банкир масштаба Варбургов, Стиннесов, Мендельсонов, Блейхредеров...

У Беляевой — особняк в Берлине, особняк в Париже. В своих бриллиантах она производит впечатление закованной в волшебнo-сверкающую кирассу.

Несколько лет головокружительного богатства и таких же головокружительных прихотей. Но звезде банкира Гольдсмита не суждено было сиять вечно.

Гитлер, еще из "Коричневого Дома" в Мюнхене, грозил: — "В тот день, когда я приду к власти — я повешу Гольдсмита!"

Но, банкир, оказался весьма предусмотрительным. В тот день, когда фюрер взял в руки власть, Гольдсмит находился за пределами досягаемости, — в Швейцарии. Он унес свою голову, но не унес своих миллионов.

Беляева веселится, посещает модные курорты, в "монденных" журналах появляются ее "купальные" портреты с заголовком: "княгиня де-Беляев".

А через некоторое время — новые аллегорические "пять миллионов".

Ольга Александровна совсем недавно обвенчалась по православному обряду с американцем Мультином. по сравнению с которым Гольдсмит, даже в пору своему расцвета, мог показаться почти бедняком.

Во Франции Мультину принадлежит замок ни по архитектуре, ни по роскоши не уступа-

ющий Версальскому дворцу.

## 2

Мы только что привели любопытный образчик феноменального везения. А вот — пример такой же феноменальной незадачливости.

В Париже продолжает блистать и своей красотой и своим громким титулом графиня Людмила Воронцова — Дашкова, вдова лейб-гусара, невестка "вицекороля" Кавказа...

Лет 8 тому назад эта обаятельная женщина была помолвлена с нефтяным королем сэром Генри Деттердинг, который был без ума от нее. Предстоящий брак уже выростал в событие большой политической важности, а посему и были пущены в ход большие интриги, дабы расстроить его.

Интриги имели успех и Деттердинг с решимостью отчаяния, женился на, разведенной им госпоже Багратуни.

За первой, такой фатальной неудачей, спустя восемь лет не замедлила последовать и вторая.

Подруга Воронцовой, ставшая крупной помещицей в американской Флориде настойчи-

во и упорно вызывала к себе графиню.

"Приезжай! Твои портреты не дают покоя американцу — миллиардеру. Он и сам интересен, помимо своих миллионов".

Избалованная, привыкшая к тому, чтоб все к ней шло безо всякого труда и усилий с ее стороны, Воронцова не спешила во Флориду.

И вновь, как и в эпоху сватовства Детгердинга, другая женщина вырвала у нее обывательски выражаясь "из под носа" архимиллионера.

Эта другая, — Ольга Беляева, а архимиллионер — Мультион, поднесший своей молодой супруги "Версальский дворец и Версальские фонтаны".

### 3

"Литво, Литво, ойчизна моя".

Так писал Мицкевич. И не только писал, а всем сердцем переживал немного суровые, северные красоты своей равнинной родины, бегущей вдоль берегов широкого полноводного Немана.

Пламенной литовской патриоткой является, живущая в Париже талантливая драматическая артистка Унэ Бей.

И ее, эту изящную хрупкую женщину, как и Мицкевича, пленяет нагорный берег Немана, в окрестностях Ковно, с песчаными обрывами и с вечно шумящим лесом гигантских корабельных сосен.

Артистическое имя свое Унэ Бей сделала в Америке, где ее гастролы, — она играла на английском языке, — имели успех исключительный.

Театральная хроника называла ее литовской "Дузе". И так же, как Дузе, всей творческой душой своею отдавалась она исполняемым ролям, иногда под занавес падая в самый настоящей реальный обморок, уносимая со сцены в уборную своими коллегами по пьесе.

Небольшой салон этой замечательной артистки в Париже, популярен в артистических и литературных кругах.

Из русских вы можете встретить в нем: поэта Бальмонта, драматурга Сургучева, режиссера Евреинова, киноартистку Веру Барановскую, этр-ал-сцен Комиссаржевского и многих других.

Все художественно, все с большим вкусом,

в этом салоне. На стенках — несколько портретов Унэ Бей, исполненных парижской знаменитостью, армянским художником Качадурьяном. Один из них, такой весенний, наполненный солнцем, напоминает по композиции прерафаэлитские картины Фра Бэато Анджелико.

Желая популяризовать в международных и русских кругах родную литовскую поэзию, Унэ Бей лучшие классические образцы ее издала по-французски и по-русски в превосходном переводе Константина Бальмонта.

Значительно раньше, Унэ Бей издала изысканным томиком стихотворения своего брата, выдающегося литовского поэта.

Не чужд искусства и супруг талантливой артистки, занимающий видное положение в кинематографическом мире Парижа. Этот симпатичный образованный человек — тоже литовец, получивший воспитание и образование в Америке. По профессии он инженер, прославленный в специальных кругах строитель и изобретатель.

#### 4

В Париже снова прошел слух о смерти Ба-

зиля Захарова...

Как и все предыдущие, он оказался тоже "преждевременным".

Правда, престарелый баронет, уже давно удалившись от жизненной сутолоки, коротает свои дни в шезлонге, на террасе своего замка, только изредка позволяя себе десятиминутную прогулку по дорожкам парка. Правда, ежедневное меню его не блещет разнообразием, заключааясь, главным образом, в рисовой каше. Но, все-же, он жив.

Тем не менее, многочисленные секретаря его все меньше и меньше начинают считаться с его личностью, подчас просто игнорируя его желания и намерения. Для них он уже умер, так сказать.

Недель шесть тому назад, я писал в "Парижских Огнях" о прискорбном случае с картиной одного русского эмигранта.

Когда номер журнала "Для Вас" прибыл в Париж, упомянутый офицер не замедлил вырезать из него, заметку, касающуюся Захарова и картины, и послал ее на личное имя сэра Базиля в его особняк на авеню Ош. в заказном письме.

Пока что — ни ответа, ни привета.

Письмо это, равно как и все предыдущие, равно как и сама акварель, несомненно не дошли до умирающего "Короля Пулеметов", а ловкое окружение архимиллиардера надеется путем молчания погасить "историю".

Кроме того, секретариат Захарова настолько привык ко всему, пишущемуся в международной прессе о "некоронованном король", что не придает статьям и заметкам никакого значения и, во всяком случае, никогда не доводит их до сведения своего патрона.

Увидеть же его лично — вообще, невозможно! Десятки слуг, детективов и стражников охраняют покой и безмятежность старика. Единственным исключением из правила — лицом, имеющим к нему доступ без доклада является его личный друг и соотечественник, Венизелос.

## 5

Прилетели в Париж и улетели советские летчики.

Начальство отпускало их в город, реже в одиночку, чаще целыми группами.

Скромная форма напоминает чехословац-

кую.

Есть выправка, но какая-то "унтер-офицерская".

Все производят впечатление полу-интеллигентов. Никто не говорит по-французски. Да оно, может быть, и лучше для "властей придержащих": по крайней мере, не разболтаются с иностранцами.

По прибытии в Париж, каждый летчик получил штатский костюм и сто франков "на мелкие расходы". Как прислуге, отпущенной в город "повеселиться".

Где-то, на Больших бульварах, один русский шофер вспугнут был окриком:

— Митя. здравствуй.

Перед ним — советский летчик.

Оказались друзьями детства и однокашниками начальной школы.

Очутились в кафе.

Летчик поражен был зрелищем корзины с целою горою сдобных булочек.

— Батюшки!.. Белый хлеб!.. Без карточек! Неужели, можно брать, сколько хочешь?!..

— Можно, — с улыбкою отвечает шофер. Разговорились.

"Белый" друг детства спросил:

— Как же вас все-таки отпустили?... А если кто-нибудь из вас пожелает променять "советский рай" на "гниющий Запад".

В ответ собеседник покачал головой:

— Друг мой, это невозможно. Все наши близкие остались заложниками, включительно до моих маленьких детей. Родители некоторых, на все время нашего полета, заключены в тюрьму.

— Так же будет и в случае войны?

— Конечно. Тогда нас скрутят еще суровее!

— Ну, а скажи: техническая мощь вашего воздушного флота, правда, или блефф?

Летчик отвел взгляд в сторону:

— На это я тебе не имею права ответить.

*Мата д'Ор*

# Книга, человек и анекдот (В. Н. Унковский)

**И**нтересная книга, интересный человек. Да и в анекдотах, пожалуй, недостатка нет.

Чем не анекдот, и жуткий, даже, трагический.

Война.

Санитарный поезд Имп. Александры Федоровны. Старший врач его, доктор Унковский, тот самый, которому мы с особенным удовольствием посвящаем эти строки.

Кто-же начальник этого поезда?

Полковник Рима́н, гвардеец, семеновец. В 1905 году его имя прогремело, как столь-же энергичного, сколь ж жестокого усмирителя "московского восстания".

Командир Семеновского полка, генерал Мин, спустя несколько месяцев, был застрелен двумя террористами. Такая-же расплата грозила и полковнику Рима́ну. Но, этот сухощавый, волевой офицер перехитрил тех, кто охотился за его черепом.

С паспортом на чужое имя, он исчез. Где он

жил восемь лет, по каким ближним, или дальним чужбинам скитался, никто не знал, или, пожалуй, знали очень немногие.

Но, с первыми раскатами военной грозы, полковник Риман, так же неожиданно, как и исчез, появился в Петербурге, чтобы исполнить свой долг.

Он просился на боевые позиции, в ряды своих родных семеновцев, но высокие покровители его запротестовали самым решительным образом:

— Вас убьют в первом-же сражении, убьют, предательски, в спину, русской-же пулю. Убьют те, кому это не удалось "после Москвы".

И, волею-неволей, Риман удовлетворился: тыловой должностью начальника санитарного поезда.

Но, во дни "великой бескровной февральской" революции, когда полилась кровь защитников России, носивших погоны и эти погоны срывала обезумевшая чернь, полковник Риман тайнственно и бесследно исчез и на этот раз.

Вообще, доктор Унковский много любо-

пытного рассказывает о своей совместной работе с этим сильным, загадочным человеком.

Сам-же Унковский, целиком отдаваясь своему подвижному госпиталю, успевал помещать в бывших петербургских ж московских газетах талантливые корреспонденции "с театра войны".

Несколько лет спустя, эмигрантская волна, выплеснула его в Сербию, где он вскоре получил должность главного врача в пехотной дивизии.

С этой дивизией, доктор Унковский совершил легендарный по своим трудностям и нечеловеческой борьбе с природой, поход через всю Албанию к берегам Адриатического моря.

С обледенелых круч, где почти не ступала нога человека, снежные вихри с бешеным воем срывали палатки, срывали вьючных "магарцев", орудия, отдельных бойцов...

Увы, этот поход оказался более, чем безрезультатным: Лига Наций, комфортабельно заседавшая на безмятежном берегу Женевского Озера, увлекаясь "самоопределением народов", вынудила сербов очистить Албанию, где

тотчас-же странный епископ Фан-Нолли помог большевикам создать коммунистическую базу для всего Балканского полуострова.

Армия демобилизуется. Сокращаются штаты — Унковский, сняв сербский мундир с полковничьими погодами, перекочевывает в Париж и работает у станка на заводе Рено. Но, и в этих условиях, он все же не выпускает из рук пера.

Обстоятельства складываются в его пользу: французские владения Центральной Африки, в частности Дагомея, нуждаются в знающих, выносливых, готовых жить в каких угодно условиях, врачах.

И, вот, Унковский проводит два года среди дагомейских негров и оттуда посылает в берлинскую газету "Руль" множество захватывающих корреспонденций.

Кончился контракт с французским правительством. Унковский возвращается в Париж, и теперь это уже человек — либеральной профессии. Никем и ничем несвязанный, он становится представителем харбинского журнала "Рубеж".

На его страницах он помещает большие

очерки о русских писателях, артистах, общественных деятелях и, вообще, выдающихся людях.

В связи с этим, нельзя не отметить необыкновенную доброжелательность Унковского. К сожалению, далеко не всем эмигрантам свойственную. Каждый очерк его дышет любовью к России и мягким, бережным отношением к тем, кого он описывает.

Попутно, этот врач-журналист долго и тщательно работает над своим первым, на днях увидевшем свет, романом "Перелом".

Как не нуждается в ясном и точном определении слово "любовь", точно так же трудно заковать в тесные рамы слово "талант".

Можно писать прекрасным литературным языком, можно этот язык расцвечивать и глубиной и психологией и блесками содержания, но при наличии всех этих качеств, роман все-таки будет преодолеваться читателем не без труда.

Роман Унковского в один вечер проглатывается с начала и до конца. Написанный с благородной простотой, он увлекает, волнует.

Даже, при отсутствии "героя" в ходячем

значении слова. Обыкновенный человек, даже серенький, даже, порою, нелепый. А он близок вам, потому что написан во весь рост кистью подлинного мастера...

Унковский, видимо, пережил константинопольский этап российского беженства. Волшебная столица берегов Босфора изображена им с такой наблюдательностью, такой яркостью, что, право, вспоминаешь местами знаменитый роман Клода Фаррера "Человек, который убил."

Тоже самое можно сказать и про дагомейские впечатления. Негритянские царьки, полу-колдуны, полуминистры и самые рядовые негры — это целая галерея живых, трепещущих персонажей со всем, что в них есть уродливого, смешного, отталкивающего и трогательного.

Прочтите, непременно прочтите роман Унковского.

**Фраскуэлло**

# Книга, человек и анекдот (С. В. Жуковский)

Много писалось о том, как живут в эмиграции бывшие русские сановники, офицеры, общественные деятели, артисты, художники и писатели, но обходилась молчанием небольшая, правда, семья бывших русских дипломатов.

За весьма редким исключением обставлены они материально не только не плохо, а, подчас, и совсем хорошо. Но в данном случае не на это желательно обратить внимание, а на то, что дипломаты наши, так же как и до революции, живут замкнуто, не интересуются ничем русским и предпочитают общество иностранцев — своим соотечественникам.

Что и говорить — нет правила без исключения.

Но одно из таких исключений мы указали недавно.

Это Н. А. Базили, с его неостывшим интересом ко всему русскому и с его капитальным трудом о годах нашей великой войны и наше-

го великого лихолетья...

С удовольствием остановимся на другом исключении.

Это С. В. Жуковский. Последний императорский посланник в Бухаре.

Настолько "последний", что своих верительных грамот он уже не успел вручить его высочеству Эмиру. Уже грянула революция, наступил пятнадцатилетний развал, а верительные грамоты остались и по сей день на руках С. В. Жуковского.

Отец молодого дипломата, — он же сейчас молод еще — своей отзывчивой мятущейся душою, по крайней мере, занимал видный пост в Министерстве Иностранных Дел и считался большим востоковедом.

Сын пошел по стопам отца и тоже дипломатическую карьеру свою начал на Востоке.

С. В. Жуковский появился на парижском горизонте едва ли не тотчас же после эвакуации Крыма генералом Врангелем.

В Комитете для защиты интересов русских беженцев во Франции — все, что уцелело от русского посольства — Жуковский был деятельным сотрудником М. Н. Гирса и В. А. Ма-

клакова. Но трогательная опека над выброшенными на чужбину соотечественниками, визы, хлопоты, заступничества, приискание мест и работы — удовлетворяли Жуковского только наполовину.

Это была канцелярщина, хотя и филантропическая, необходимая, полезная для русских, но все же канцелярщина.

И вот энергичный дипломат, всесторонне образованный и культурный человек, создает "общество", единодушно избравшее его своей главою. Общество берет под свое покровительство и под свою защиту русских людей искусства, в широком значении слова: композиторов, певцов, музыкантов, писателей, живописцев, поэтов, мастеров прикладного искусства.

Жуковский устраивает концерты, выставки обнаруживая немалые организаторские способности.

В три четыре года путем этих выставок и концертов был собран весьма значительный фонд. Восемь процентов фонда ушло на технические расходы, на содержание необходимого аппарата, все же остальные девяносто

два процента были розданы неимущим членам общества, что было для них громадным подспорьем в эти суровые годы безработицы, кризиса и неумолимой "процентной нормы"...

Для писателей, например, С. В. Жуковский порою делает гораздо больше, чем такая сильная организация, как союз русских писателей и журналистов в Париже.

Не союз озаботился устройством семидесятилетнего юбилея маститого, почти утратившего зрение, А. А. Плещеева, а бывший дипломат...

Союз ограничился небольшой субсидией, решив, что для старого журналиста, проработавшего более полувека, этого вполне достаточно.

О Плещеевском же юбилее, душою которого был Жуковский, говорили долго.

В самом деле это было пышное, особенно по эмигрантскому масштабу, торжество. Весь цвет русского искусства и русской литературы привлечен был на этот многолюдный вечер.

Весь чистый доход, выразившийся в до-

вольно крупной сумме, поднесен был юбилею.

Не ограничиваясь Парижем, Жуковский вовлекает в орбиту своего "общества" эмигрантское рассеяние не только ближних, но и дальних стран. Растет количество членов, растет основной капитал.

Своим коротким летним отдыхом неутомимый организатор воспользуется для разработки целого ряда концертов в выставок, посвященных выдающимся композиторам и художникам, к предстоящим осеннему и зимнему сезонам.

Какой назидательный пример для всех тех русских, имеющих средства, связи и самые широкие возможности делать даже и больше того, что осуществляет Жуковский, но не желающих поинтересоваться и принять к сердцу интересы "сливок" русской интеллигенции на чужбине.

*Н. Суражский*

# Четыре звена Марка Алданова

Остановившись на том, что уже писалось и говорилось об Алданове, не будем. Зачем повторять известное: что в романах своих, исторических и бытовых, он талантлив, изысканно умен и тонок же этими тремя качествами заставляет себя читать, даже тех, кто требует лишь только захватывающей фабулы, но, не находя таковой у Алданова, вполне удовлетворяется, и как? — великолепными этюдами большого мастера...

Что-же еще?

Стоит на одном из первых мест в библиотеках, в отчетах книжных магазинов и переведен на без малого двадцать языков...

Вас интересует, что сам о себе говорит этот писатель, столь же культурный, сколь и скромный, настоящей, не показной, скромностью.

Но, именно, в этой скромности — какое-то сдержанное сознание своей силы и своей независимости.

Вот почему на столбцах республиканских газет Алданов позволяет себе то, чего на этих

же самых столбцах не дерзнул бы никто другой.

В своем большом очерке о низложенном, вернее, "самонизложившемся" короле испанском Альфонсе XIII, он несколько раз повторяет, что экс-монарх был поистине государственным человеком и процветанием своим за последние десятилетия Испания обязана ему не мало.

От всей плотной фигуры Алданова веет каким-то прочным, установившимся спокойствием. И так же спокойно-же длителен он в движениях, и так же спокоен блеск его светлых глаз, когда он говорит вдумчиво и благожелательно глядя на собеседника.

— ...Я родился в богатой семье киевских сахарозаводчиков. Это дало мне счастливую возможность идти навстречу своим стремлениям и путешествовать, путешествовать без конца! Единственная часть света, в которой я не был, — Австралия...

Материальная независимость дарила меня возможностью посвятить себя двум редко совместимым богам: литературе и химии. Я — химик и, по словам моего профессора Ан-

ри, — подававший надежды, — улыбается Алданов ясной, слегка застенчивой улыбкой. — Мое первое литературное произведение — книга о Толстом, весьма благосклонно встреченная критикой и, особенно, делавшим "погоду" в этой области покойным Айхенвальдом. Я в глаза никогда не видал Айхенвальда и, поэтому, особенно ценю его отзыв. Книга моя вышла до войны. Всю мою литературную карьеру пришлось делать уже в эмиграции. Но ни мой успех среди зарубежных соотечественников, ни переводы на девятнадцать иностранных языков, никогда не могли заглушить чувство горечи, вытравить сознание, что расцвет мой не пришелся в России, ста-шестидесяти миллионной России, так много читавшей и с годами проявлявшей стихийную жажду чтения. Никакие переводы не могут заменить подобной утраты необъятного, родного, близкого, "своего рынка".

С началом военных действий, — я только только успел прибыть к ним из-за границы, — уже не до литературы было. Меня мобилизовали. Но ни передовых позиций, ни подвигов, не ждите, — новая подкупающая

улыбка. — Я надел форму тылового зем-гусара и, как химик, занялся удушливыми газами, с откомандированием на соответствующие заводы. А дальше, дальше все так знакомо: революция, бегство, скитания, Париж. и первая книга на чужбине "Святая Елена, маленький остров".

Вы спрашиваете, да и не только вы, к какому из моих романов больше у меня лежит сердце — историческим, или современно бытовым? Я отвечу — к последним, хотя имя сделали мне, главным образом исторические книги и, особенно, "Девятое Термидора", самая слабая из моих вещей, ничуть меня не удовлетворившая.

\* \* \*

Вспоминая "Десятую симфонию", вы вспомнили встречу императрицы Евгении с художником Изабэ. Я остановился на этом с особенной бережной любовью. У меня всегда было какое-то мистически-благоговейное чувство к живой, человеческой "цепи", соединяющей исторические звенья. Как-то до войны еще, в Париже, я на Рю де ла Пэ перед витриною ювелира Картье. Подъезжает карета.

Сухой, высокий старик под руку высаживает даму в глубоком трауре со следами замечательной красоты. Это была императрица Евгения, а старик — ее личный секретарь Пьетри... Я шел под впечатлением этой встречи. Я только что увидел одну из самых трагических венценосиц. Шестьдесят пять лет тому назад, тоже в центре Парижа, остановилась карета, из нее вышла молодая цветущая императрица и милостиво беседовала с почти восьмидесятилетним миниатюристом Изабэ, тем великим Изабэ, кто в ранней молодости своей писал портрет Марии Антуанетты.

Вот вам четыре живых звена, четыре поколения: я, императрица Евгения. Изабэ и несчастная дочь Марии Терезии. Странно, до жуткого странно. И это, всегда меня волновавшее, я как мог и как умел, изобразил в своем романе.

Чем занят теперь?.. Продолжаю, — конец уже близок, — роман "Пещера"... Кончу и "антракт"... На долго ли? Не знаю. Года на два — на три, может быть. Да и мыслимо ли, вообще, загадывать в наши дни, такие неустойчивые, такие призрачные!..

А сейчас, — повинуюсь вашему желанно, — интервьюер — это маленький тиран, хотя бы и "получасовой" — сейчас о своем личном, уже не литературном, — а обывательском. Что-ж, как мой сосед — бистровщик, — пожалуй: "Времена тяжелые, сударь!" Печатаюсь, перевожусь, а между тем, только-только свожу концы с концами. Либо туго и мало платят, либо — это еще хуже! — совсем не платят. Благо так удобно валить все на "кризис". Одно из отрадных исключений, — книгоиздательство "Слово". И его больно и крепко хватил "кризис", но оно аккуратно высылает все, что мне надлежит получить. Венгерский издатель должен был мне 1250 франков. Пишет: "И хотел бы перевести, — нельзя! Такой закон вышел!". Короче, ценою сложных и нудных банковских комбинаций я получил свой гонорар, но в каком "общипанном" виде! Вместо 1250—800 франков. Но и за это — благодарение Господу!..

Мои вкусы? Привычки? Но по нынешним временам, отвыкать надо! Хочешь — не хочешь... Люблю тонкую кухню, хорошие вина,

ликеры. Люблю ездить верхом. Все недоступные удовольствия. Люблю, — это более доступно, — шахматы. Но, увы, шахматы "не любят" меня. Игрок я прескверный!.. В этом нет никаких сомнений, ибо аттестат на горе-шахматиста выдал мне никто иной, как сам знаменитый Ласкер.

Уже 12 лет я женат на такой же, как и сам, киевлянке Татьяне Марковне Ратцевой. Живем по эмигрантски, в скромной квартирке с шаблонным убранством любой квартиры любого зубного врача. Вот и все.

Нет, еще не все!.. Желательно еще сказать то, чего сам М. А. Алданов никогда про себя не скажет.

Редкой благожелательности человек!..

Особенно же в писательском мирке Парижа и не подумавшем сплотиться на чужбине, в одинаково для всех тяжелых эмигрантских условиях...

Алданов рад всегда устроить одного, хлопотать за другого.

В долгих и тщательных восьмилетних подготовительных работах по присуждению нобелевской премии академику Бунину, — роль

Алданова довольно видная и весьма активная. Он мобилизовал все свои знакомства и связи. Он волновался, горел и кипел едва ли не больше, чем сам заинтересованный "лауреат".

А, между тем тот же Алданов по праву, с его популярностью не только в русском, но и, в общеевропейском масштабе, смело мог бы выставить свою собственную кандидатуру.

*Н. Суражский*

# Красные каблучки Тэффи

Недавно мы посвятили очерк весьма колоритной фигуре А. В. Руманова.

Около 30 лет тому назад он "эпатировал" петербургские салоны "филигранным Христом".

Позже Руманов в тех же салонах ронял своим мягким, рокошущим почти баритоном:

— Тэффи кроткая... Она кроткая, — Тэффи...

И ей он говорил:

— Тэффи, вы кроткая.

На северных небесах Невской столицы уже сияла звезда талантливой поэтессы, фельетонистки и, — теперь это будет откровением для многих, — автора очаровательных нежных и совершенна самобытных песенок.

Тэффи сама исполняла их небольшим, но приятным голоском под аккомпанементом своей же гитары.

Так и видишь ее — Тэффи.

Запахнувшись в теплый отороченный мехом уютный халатик, уютно поджав ноги, сидит она с гитарой на коленях в глубоком кресле у камина, бросающего теплые, трепетные

отсветы.

Умные серые кошачьи глаза смотрят не мигая в пышущее пламя камина и звенит гитара:

*Грызутся злые кошки  
У злых людей в сердцах  
Мои танцуют ножки  
На красных каблучках.*

Тэффи любила красные туфельки.

Она уже печаталась. О ней говорили. Ее сотрудничества искали.

Опять Руманов, стриженный бобровым ежиком.

На кавказских минеральных водах он создавал большую курортную газету и привлекал лучшие петербургские "силы".

Один из первых визитов — к ней, "кроткой Тэффи".

— Я приглашаю вас на два-три месяца в Ессентуки. Сколько?

И не дождавшись ответа, Туманов как-то незаметно и ловко веером положи на стол несколько новеньких кредиток с портретами Екатерины Великой.

— Это аванс!..

— Уберите его! Я люблю радугу на небе, а не на своем письменном столе — последовал ответ.

Туманов не растерялся. Он как фокусник мгновенно извлек откуда-то тяжелый замшевый мешочек и высыпал на стол звенящую, сверкающую струю золотых монет.

Надежда Александровна задумчиво пересыпала монеты эти сквозь пальцы, как ребенок, играющий с песком.

Через несколько дней она уехала в Эссен-туки и там сразу подняла тираж курортной газеты.

Это было давно, очень давно, а все-таки было...

Время кладет печать — говорят.

И время и печать на редкость снисходительны к Тэффи. Здесь в Париже она почти та-же, какой была с гитарой у камина в красных туфельках и в отороченном мехом халатике.

А умные глаза с кошачьей серой желтизной и в кошачьей оправе — совсем те же самые.

Беседуем о текущей политике:

— Что вы скажете, Надежда Александровна, о "Лиге Нации", о принятии ею в свое лоно Советской Тоссии, вернее советского правительства?

Сначала улыбка, потом две ямочки возле углов рта. Давным-давно знакомые ямочки, воскресившие Петербург...

— Что я могу сказать? Я не политик, а юморист. Одно разве: Уж больно ироническое у всех отношение к "Лиге Нации", а следовательно, какая цена тому, признает она кого-нибудь, или не признает. И, право, ничего не изменилось и не изменится от того, что она украсила своими лаврами литвиновскую плешь с его, Литвинова, не совсем "римским профилем". Фарс, пусть трагикомический, но все же фарс.

Покончив с Лигой Нации и Литвиновым, переходим к объявленной большевиками амнистии.

— Точно-ли она объявлена ими? — усумнилась Тэффи? — Большевики, по крайней мере, хранят по сему предмету молчание. Мне кажется, эта амнистия подобна миражу в пустыне. Да, да, изверившаяся, измученная

эмиграция, пожалуй, сама выдумала эту амнистию и хватается за нее. Говорят же мусульмане: "утопающий готов и за змею ухватиться".

— Что вы скажете о современной Германии?

— А вот что скажу: Был у меня рассказ "Демоническая женщина". Ему повезло. В Польше вышел сборник моих вещей под этим общим заглавием. На немецком языке тоже напечатана была "Демоническая женщина". И вот узнаю: какой-то развязный молодой немец возьми и помести этот рассказ под своим собственным именем. Я привыкла, что меня перепечатывали без гонорара, но не привыкла, чтобы под моими рассказами ставилось чужое имя. Друзья посоветовали призвать молодого, многообещающего плагиатора к порядку. Они же посоветовали обратиться к проф. Лютеру. Кажется, в Лейпцигском университете он занимает кафедру. Кафедру — сейчас вам скажу чего.

Да, славянской литературы. Написала ему больше для того, чтобы успокоить своих друзей.

К великому удивлению, профессор Лютер откликнулся. Да как! С какой горячностью! Возникло целое дело. Разыскал многообещающего молодого человека, намылил хорошенько ему голову, пригрозил: еще что-нибудь подобное, и в пределах Германии никто никогда не напечатает ни одной его строки. Гонорар за "Демоническую женщину" присужден был в мою пользу. Молодой человек написал мне покаянное письмо на нескольких страницах. Мало этого, за него же еще извинялся передо мной сам почтенный профессор Лютер. Извинялась корпорация немецких писателей и журналистов. В конце концов самой совестно стало, зачем заварила эту кашу?...

А теперь, покончив с Германией, два слова о перепечатках, вообще. Большая русская газета в Нью-Йорке повадилась "украшать" свои подвалы моими фельетонами из "Возрождения". Я обратилась о защите моих авторских прав к канадскому обществу русских журналистов. Спасибо им, занялись мною, но толку из этого — никакого! В ответ на угрозы привлечь к суду, упомянутая газета продолжает пользоваться моими фельетонами и ко-

личество перепечатанных рассказов достигло внушительной цифры 33. Увы, мои симпатичные канадские коллеги не обладают авторитетом трогательнейшего и всесильного профессора Лютера.

Я так и знала! Ни одно "настоящее" интервью без этого не обходится. Над чем я работаю? Скажу откровенно, не утаивая, — пишу эмигрантский роман, где хотя и под псевдонимами, но весьма прозрачно, вывожу целую фалангу живых людей, столпов эмиграции самых разнообразных профессий и общественных положений. Поощажу ли я моих друзей? Может быть да, может быть нет. Не знаю. Нечто подобное было когда-то я с Шатобрианом. Он тоже объявил выход в свет такого же портретного романа. Всполошившиеся друзья тотчас-же организовались в общество, целью которого было создать денежный фонд имени Шатобриана. Нечто вроде умиловляющей жертвы грозному, карающему боже-ству... Ничего не имела бы против, — добавляет с улыбкой Тэффи — и я — ровно ничего — против подобного дружественного фонда в пользу меня, грешной. Однако, не пора ли

кончать? Боюсь, что займу своей особой много места в журнале "Для Вас"!

Получится, чего доброго, уже не "Для Вас", а "Для меня". Так что же еще? Одолевают меня начинающие авторы. Отовсюду свои произведения шлют с просьбой напечатать. А дабы просьба была действительной, посвящают все свои рассказы мне. Думают, восхищенная таким вниманием Тэффи немедленно помчится в соответствующие редакции и с браунингом в руке заставить печатать молодых авторов, хотя-бы в предвкушении опубликования лестных посвящений. Пользуясь случаем, оповещаю всех моих пылких корреспондентов, что я, ну, вот несколько не тщеславна! Попадаются, правда, и не плохие рассказы, но чаще всего моя молодежь пишет о том, чего не знает. А что знает, про то молчит. Например, автор из Марокко прислал мне рассказ. О ком бы вы думали? Об эскимосах! Я в эскимосском житье-бытье хоть и не особенно маракую, однако, сразу учуяла что-то неладное.

От начинающих писателей переходим к нашим парижским профессионалам.

— Скажите, — спрашиваю. — Надежда Александровна, чем объяснить такую грызню среди нашего брата? Казалось бы, одинаково обездоленного? Почему?

*Грызутся злые кошки  
У злых людей, в сердцах.*

— Какая у вас память! — изумилась Тэффи и в кошачьих глазах вспыхнули искорки. — Почему? Измучились все, сил больше нет терпеть.

— Но когда же перестанут, однако?

— Успокойтесь, — ободряюще кивнула Тэффи, устанут и тогда перестанут.

— А вы не устали жить?

— Нет, жизнь так прекрасна, что далее страдания и те — в радость. Сейчас я уже вместо вас, закончу куплет:

Мои танцуют ножки На красных каблучках.

И вновь в кошачьих глазах вспыхнули, погасли искорки и обозначились возле углов рта ямочки.

***Н. Суражский***

# Русский художник В. В. Верещагин

## I

Трудно найти другого русского художника, имя которого пользовалось бы такой широкой европейской известностью, как имя Василия Васильевича Верещагина, творца батальных и этнографических картин. Популярность художника объясняется не столько его техникой или поразительным реализмом, сколько своеобразным пониманием сюжетов, задач творчества, и особенно содержанием его произведений. Изображая войну, Верещагин поставил главной задачей "рассмотреть войну в ее различных видах и передать ее правдиво". Вследствие чего война на его картинах является не парадной, не прикрашенной, как у других баталистов, а такой, как она есть на самом деле, где "лишь 10 % победы и 90 % страшных увечий, холода, голода, жестокости, отчаянья и смерти в самых ужасных и поразительных ее проявлениях". Все ужасы войны переданы знаменитым художником с

поразительным искусством и заставляют зрителей переживать те тяжелые настроения, которые испытывали ее участники...

Его тенденция — протест против войны и ее жестокостей.

Василий Васильевич Верещагин родился в 1842 г. в г. Черепце Новгородской губернии в семье уездного предводителя дворянства и провел детство в ее патриархальной обстановке. Рано обнаружилось в нем художественное дарование, но родители не обратили должного внимания на способности своего сына.

Мальчик-Верещагин на восьмом году был определен в Александровский корпус, откуда в 1853 году его перевели в Морской корпус. Уже в училище созрела у будущего художника решимость посвятить себя искусству и с 1858 года он посещает школу общества поощрения художеств. Окончив корпус, Верещагин всего месяц пробыл на службе и, не без противодействия со стороны родителей, поступил в Академию художеств, где числился с 1861–1865 г. Он работал под руководством А. Т. Маркова и А. Е. Бейдемана. В 1862 году Вере-

цагин был удостоен малой серебряной медали за эскиз: "Избиение Улиссом женихов Пенелопы", а за повторенную им в больших размерах композицию на тот же сюжет получил похвалу Академии.

Но уже в академии сказалась оригинальность и самобытность таланта Василия Васильевича. Не по душе ему были традиции старой академии. Молодой художник не мог помириться с ложноклассической манерой преподавания и упорно отказывался копировать знаменитых мастеров. Впоследствии он сжег свою академическую композицию, "чтобы никогда не возвращаться к этой чепухе".

Не кончив Академии, Верещагин отправился в Париж, где работал в "Ecole des beaux arts" под руководством Жерома. Возвратившись на родину, он некоторое время был преподавателем рисования в одном из женских учебных заведений Тифлиса. С Кавказа Василий Васильевич привез много рисунков типов и сцен, которые впоследствии были им помещены в журналах "Le Tour de Monde" и "Всемирный Путешественник". Некоторые из них были на Академической выставке 1867

года. В 1864 году Верещагин был на Дунае и опять посетил Кавказ. По возвращении в Петербург он просил Академию выдать ему свидетельство в том, что он награжден серебряною медалью и путешествовал по Кавказу и Закавказью с художественною целью, — что и было исполнено. В 1866 году была впервые выставлена в Парижском салоне одна из картин Верещагина.

Художник-реалист, Верещагин стремится изображать действительность, но не такую, которую пишут все художники. Его влекут страны и люди, неведомые еще искусству... Начинаются скитанья Верещагина, причем он не останавливается ни пред какими трудностями и опасностями. Горячо любя искусство, он смело идет навстречу смерти. В Туркестане принимает участие в Самаркандской битве, в русско-турецкой войне под градом пуль изучает падение бомбы в воду, на Гималаях солнце жжет его спину, тогда как пальцы от холода едва держат палитру... На войне он никогда не остается только равнодушным зрителем...

В 1867 году мы видим художника в Турке-

стане, прикомандированным к генерал-губернатору Кауфману и после Самаркандской битвы георгиевским кавалером. После Туркестанского похода Верещагин едет в Париж и Мюнхен, где из-под его кисти выходит серия туркестанских картин, которая была в 1873 году выставлена в Лондоне. Особенным успехом среди публики пользовались "После удачи", "После неудачи", "Опиумоеды" и "Бача со своими поклонниками", уничтоженные автором.

Через год и Петербург увидел эту коллекцию, которая имела успех. Но картины "Окружили — преследуют", "Забытый" и "Вошли" навлекли на автора обвинения в излишней тенденциозности и были сняты с выставки и уничтожены Верещагиным.

К 1874 году относится полный разрыв Василия Васильевича с Академией. Академия возвела его в звание профессора. Художник отказался и был исключен Советом Академии из числа ее членов.

Результатом двух лет (1874–1876), проведенных Верещагиным в Индии, явилась индийская серия в 32 картины, написанные им

в Париже. Между тем началась русско-турецкая война и Верещагин — на Дунае. По-прежнему он не только зритель, но и участник боя. Состоит при Скобелеве и Гурко, получает рану на миноноске Скрыдлова, присутствует при Плевненской битве, а во время набега на Адрианополь даже исполняет должность начальника штаба. Мало того, — он объездил почти всю Болгарию и привез в Париж огромное количество этюдов, послуживших материалом для 13 картин его болгарской серии. Эта коллекция вместе с индийской была выставлена в главнейших городах Европы, а в 1883 году — в Москве и Петербурге.

Но неутомимому художнику все казалось мало. Его душа искала новых впечатлений, и он предпринимает поездку в Палестину и Сирию, результатом которой были выставленные в Вене, Берлине, Лейпциге и Нью-Йорке картины на сюжеты из Нового Завета. В них Верещагин окончательно порвал с традициями религиозной живописи. Его трактовка новозаветных сюжетов в духе толкований Рена вызвала большие толки и подняла целую бурю в населении католической Вены.

После 1884 года. Верещагин совершил поездку по северу России, но его этюды остались необработанными, потому что внимание художника привлек 1812 год, и из-под его кисти вышел цикл Наполеоновских картин.

Как художник-реалист, Верещагин хорошо передала то, с чем он соприкасался в действительности. Поэтому его палестинский и наполеоновский циклы слабее картин азиатского востока и войны, ибо в первых ему приходилось иметь дело с исторической, а не настоящей действительностью и многое дополнять воображением.

Большинство картин Верещагина находится в Третьяковской галерее и у частных лиц в России и за границей.

Василий Васильевич владел не только кистью, но и пером. Его взгляды на искусство выражены им в статьях "О реализме" (журнал "Художник", "О прогрессе в искусстве", где он является горячим защитником реалистического направления в живописи и врагом всякой тенденциозности. В своих каталогах к выставкам Верещагин объясняет, дополняет, и толкует свои произведения.

Кроме того, его перу принадлежат путешествия и воспоминания: "Заметки, очерки и воспоминания", "На воне в Азии и Европе", "Детство и отрочество", "Очерк путешествия по Гималаям", роман "Художник" и др.

## II

Погиб Василий Васильевич Верещагин!

Погиб единственный русский "баталист Божиею милостью" если можно так выразиться.

Верещагин вдруг и резко порвал с царившей у нас до него "баталической школой". Когда он выставил свою кошмарную серию туркестанских картин и этюдов, где зафиксировал беспощадной кистью своей войну со всеми ее ужасами — повалившая густыми толпами публика увидела, что слащавым парадным баталиям Коцебу и Виллевальда пришел конец...

Увидела, что война не красивый смотр, где, лихо подбоченясь, гарцуют изящные ординарцы Виллевальда, и где для приличия, точно уснувшие, разметались в грациозных позах убитые. Словно герои гипсовых классов — "умирающие галлы" и гладиаторы!

Совсем другую войну, свою, Верещагинскую и вместе правдивую, реальную показал Василий Васильевич родине, Европе, показал всему свету...

В течение четырех десятилетий он систематически внушал отвращение и будил негодование к жестокой и кровавой человеческой бойне, именуемой войною.

Он воевал с нею. Щитом ему служила палитра. Шпагами — кисти. Убедительно и неотразимо умел Верещагин владеть своим оружием.

Недаром австрийское правительство "попросило" однажды Василия Васильевича снять с выставки картины, мотивируя свою просьбу тем, что "верещагинские документы" ослабляют воинственный дух австрийской армии.

Там же какой-то доброволец-фанатик облил две картины Верещагина серной кислотой, изуродовав их, что и требовалось доказать...

\* \* \*

Вспомните хорошенько все виденные вещи погибшего баталиста. Их много, сотни, по-

жалуй, тысячи. И нигде, решительно нигде, за исключением разве "Бородина", вы не найдете момента сражения, боя. Всюду — либо до, либо после. Причины этому двойкие.

Во-первых — тенденциозные. Не отвлекаясь "движением", зритель глубже проникается сознанием закулисной неприглядности войны, ее изнанки. Во-вторых, причины чисто технические. Верещагин — ученик Жерома, знаменитого компоновщика. Жером своими батальными композициями первый сказал европейской школе:

— Не художественно и не убедительно будет, если вы изобразите момент какого-нибудь стремительного, бурного движения. На картине — занесенный над чьей-нибудь головой меч производит комическое впечатление. Молниеносное мгновение кажется в рисунке вечностью.

В самом деле, гораздо сильнее концентрируется настроение, когда мастер умно скомпонует момент многоговорящего затишья.

Посредственный иллюстратор Ян Стыка "размалевал" арену римского цирка, где хищные звери поедом едят христианских мучени-

ков — кому ногу оторвали, кому руку, кому голову, кого сообща потрошат и терзают. И в результате — что-то жалкое, лубочное, и краем крыльев не задевающее ваших нервов.

Теперь взгляните у Жерома... Кучка обезумевших от ужаса христиан сбилась у стены... А к ней медленно, зловеще, фиксируя своим кошачьим желтым взглядом ее — приближается великолепный тигр... Мгновение — и он сделает гигантский скачек прямо на это обреченное на гибель человеческое мясо... Вы видите, что эта картина, и даже суховато написанная, — но у вас невольно захватывает дух...

Таков и Реньо со своими деспотами фараонами, таков и ученик Жерома — Верещагин.

\* \* \*

Два года назад, в Париже я говорил о Верещагине с Жеромом. У Жерома сохранились о Василии Васильевиче хорошие воспоминания. Считает его очень талантливым и... слегка чужаком... "Un home bizarre" — заметил Жером, улыбаясь тонкими губами выразительного, умного рта.

В парижских ателье укоренились тради-

ции. Старшие ученики подвергают новичков различным искусам. Один из главных — заставить раздеться, после чего "мэтры" мажут голое тело новичка красками, татуируют его, не оставляя, как говорится, живого места. Если испытуемый сопротивляется — его раздевают насильно.

Очутился в мастерской Жерома и Верещагин. Его окружили и попросили раздеться. Василий Васильевич побледнел. "Мэтры" настаивали. Верещагин отступил на шаг, вынул из кармана револьвер и спокойно, ледяным тоном заметил:

— Первому, кто меня коснется — размозжу голову.

Вся студия мгновенно затихла. У видывавших виды "мэтров" вдруг опустились руки...

Верещагина оставили в покое.

Чрезвычайно характерный мазок для всего величавого верещагинского портрета. В одной "истории с револьвером" сказалась гордая, самолюбивая натура громадной силы воли и неустрашимости...

Жером ставил Верещагину на некоторый минус любовь к рекламе. Но, право, покой-

ный художник не был уж таким ярким рекламистом, как почему-то сложилось мнение и нас, и за границей.

\* \* \*

Только разве на долю картин Куинджи выпал такой бурный, неслыханный успех, каким была встречена туркестанская коллекция Верещагина. Да и не только туркестанская.

Публика, словно зачарованная, смотрела феерические полотна из жизни далекой таинственной Индии. Восточная обстановка, странные, невиданные предметы, оружие, — усугубляли впечатление, делая его еще напряженнее... Публику гипнотизировала эта роскошная, чудовищная природа картин Верещагина, эти сверкающие драгоценными камнями раджи и эти вереницы слонов, что шутя дробили головы осужденных своими тяжелыми ногами-бревнами...

Колористом, поэтом красок, Верещагин никогда не был. Эта чарующая поэзия была чужда его, скорее рассудочной, чем художественной натуре. Но, все же, как очень талантливый и добросовестный мастер, он умел пере-

дать и жгучее солнце, и яркий свет знойных тропиков, и холодный воздух дальнего севера.

Наблюдая мимолетный эффект северного сияния, чтобы сейчас же, пока не ослабело зрительное впечатление, зафиксировать его на холсте, Верещагин на сильном холоде чуть не замерз, деревенели пальцы, но все же добивался желаемого. Для этого железного человека не было препятствий!

...Он сидит на берегу Дуная и набрасывает этюд разбиваемых в щепы турецкими ядрами лодок, переполненных тонущими русскими солдатами. Кругом — кромешный ад! Шлепаются и взрывают землю гранаты, свистят пули. А Верещагин — хоть бы что! Не до того ему. Он весь ушел в стремление поймать эффект солнечных лучей, преломляемых в затуманенной плывущими лодками зеркальной поверхности широкого Дуная. Шалая турецкая пуля разбивает вдребезги палитру. Верещагин преспокойно достает новую и, как ни в чем ни бывало, продолжает писать...

Более рискованные сеансы даже и во сне не пригрезятся!

Точно также под пулями текинцев, когда не хватало обозных солдат, Верещагин, перевозил фургоны с нашими ранеными. В русско-турецкую войну Василию Васильевичу, чтоб не быть убитым наверняка, пришлось ползти на четвереньках по одной из шипкинских тропинок. Тропинка была усеяна разложившимися трупами, и Верещагин в течение двух часов месил руками и ногами эти зловонные, мягкие, кишасщие червями трупы...

И, задыхаясь в ужасной атмосфере, он изучал, как узенькая, почти вертикальная, полоса света "играет" на липком и топком дне клоповника, на грудах черепов, на изуродованных проказою и паршами головах обезумевших, обратившихся в жалких, скотоподобных идиотов, узников этих темниц, придумать которые могла только жестокая фантазия азиата...

Мудрено ли, после этого, что когда смотришь проклятые "документы" Верещагина, вроде клоповника, что в Третьяковке, — по коже начинают бегать мурашки...

\* \* \*

Академия, классическая академия начала

шестидесятих годов, не дала Верещагину ничего. Если кто и принес ему некоторую пользу, это действительно талантливый и живой Бейдеман, резко выделявшийся изяществом своей живописи и относительно оригинальными композициями среди мертвых рутинеров-профессоров, какими были Марков и Шамшин...

Порвав с академией, Верещагин не пристал ни к какому лагерю. Передвижники были ему тоже чужды. Он всегда выставлялся в одиночку. Его успех, головокружительный, фантастический успех, породил всевозможные толки. И поклонники, и хулители Верещагина не избежали крайностей. Завистники и недоброжелатели выросли вдруг, как грибы в дождливую непогоду. Они называли Верещагина шарлатаном, фигляром, бездарностью, фельетонистом. За его триумфальной колесницей гнались клеветники...

Не было тех мерзостей, которые не распускались бы про Верещагина. Академия, в лице действительно бездарного Тютрюмова, травила Верещагина, печатно. Бросалась прозрачная тень на несамостоятельность его работы.

Писали, что он "фабриковал" свои картины не сам, а в компании наемных мюнхенских художников. Нашлись даже такие, что обвиняли Василия Васильевича и политической неблагонадежности, и ненависти к отечеству. "Он-де подкуплен врагами России" и т. д.

Забрасывали грязью даже Павла Михайловича. Третьякова, зачем он купил за девяносто тысяч туркестанскую коллекцию Верещагина. Даже такая чистая, хрустальная душа, как Перов, не могла слышать имени Верещагина без нехорошего, завистливого чувства. Сконцентрировав на себе всеобщее внимание, Верещагин сильно ослабил популярность новых жанровых картин Перова. И Перов, уже больной, надломленный, бросился вдруг к большим историческим полотнам, думая восстановить ими померкшую славу...

\* \* \*

Далеко зашли в своих восторгах и поклонники Верещагинского таланта. Они называли его одним из первых, — если не самым первым, — баталистом Европы. Разумеется, он неправы. Верещагину было далеко до глубины захвата и живописи Невилля, до рисунка,

замечательного рисунка Моро и Детайля. Его полотна — не картины, а умные, талантливые иллюстрации, которые поразят вас на несколько минут, но не способны захватить надолго тем тонким чувством, которым чаруют вас дышащие широким творческим размахом версальские холсты Невилля.

Большой ум, человек высокого гражданского подъема, всегда брал в Верещагине перевес над художником. Да простят мне мою дерзость — я позволю себе усомниться: любил ли в самом деле Верещагин искусство?

Его "документы"-картины не согреты этой любовью.

Он был не только художник талантливый, но и писатель даровитый. Коли собрать его фельетоны, рассказы, получатся целые тома. Почти все сплошь — это прекрасный этнографический материал. И редкоредко, почти никогда не писал Василий Васильевич об искусстве. А уж кому бы, кажется, и книги в руки, как не ему? Фельетон о Лемане в "Русских Ведомостях", еще две-три статьи — и обчелся.

\* \* \*

Популярность Верещагина была колос-

сальна. С нею мог соперничать у нас разве один только Айвазовский. Василия Васильевича знали во всех уголках земного шара. Выставлял он повсюду, до Америки включительно. Тяжелые пудовые альбомы были сплошь исклеены его биографиями, рецензиями, портретами и карикатурами, вырезанными из газет и журналов Европы, Америки и даже Азии.

И он вполне заслужил свою популярность, свою феерическую славу.

Когда имя его гремело, и ничто не могло поколебать его триумфального шествия, академия спохватилась, и присудила ему звание профессора. И Верещагин — неслыханный, небывалый пример! — отказался печатно.

Со своими батальными картинами он сыграл такую же роль, какая выпала в литературе на долю "Севастопольских рассказов" Толстого.

Доблестной, героической смертью погиб Верещагин. Это был последний мазок, чудный волшебный мазок для его духовного портрета.

Крупная, достойная памятника фигура!

### III

Быстро бежит время...

Давно ли, кажется, узнали мы горестную весть о гибели на "Петропавловске" Верещагина?

Вся Россия дружно оплакала трагическую смерть знаменитого художника...

Верещагин не только живописал войну, но и принимал в ней самое близкое, длительное участие. Богата приключениями шестидесятидвухлетняя жизнь его! Одно восьмидневное "самаркандское сидение" чего стоит! Эта ужасная томительная неделя, когда горсть русских солдат, запершись в тамерлановской цитадели, геройски выдерживала осаду большого двадцатитысячного полчища туземцев — может показаться легендарной. Многие так и думали!

Изнурительная азиатская лихорадка заставила Верещагина покинуть отряд. Он уехал в Париж, очутившись там среди оставленных товарищей-художников.

Целый каскад вопросов:

— Ну что, как!?

Верещагин картинно и сочно описал свои

туркестанские впечатления...

На следующий день профессор Гун говорит Василию Васильевичу:

— Ты помнишь инженера К., который вместе с нами слушал вчера твой рассказ?

— Помню.

— Когда ты ушел, он сказал, что ты все врал... И что ты водил солдат на штурм, и что тебе присудили Георгия... Это — говорит, — невозможные вещи, — ему померещилось...

Через месяц вся обычная компания собралась в кафе. Вошел Верещагин. Инженер К. вдруг сконфузился. Перед этим Гун прочел вслух в русской газете, что Государь Император" за блистательное мужество и храбрость" — пожаловал Верещагину георгиевский крест...

\* \* \*

С солдатским ружьем, Верещагин целые дни проводил на стене самаркандской цитадели, стреляя в осаждающих туркменов-халатников. Но время одного штурма враги подошли совсем близко... Двух Верещагин застрелил методично, по-профессорски. Он положил винтовку на выступ стены и ждал...

Первый туземец упал как скошенный... Ватный халат на нем загорелся, и к вечеру труп совершенно обуглился, а поднесенная ко рту в последний момент рука — так и застыла скрюченная...

Тревожные кровавые дни сменялись чудными южными ночами... Тихий теплый воздух, глубокое звездное небо... Кротким всепрощающим миром веяло кругом... И верить не хотелось Верещагину, что утро сулит новые ужасы, новые жертвы и кровь, кровь, кровь без конца...

Часто производились вылазки. Неопытных молодых солдатиков пугала предательская кривизна узких самаркандских улиц, где можно заблудиться, сгинуть бесследно, и они пятились, шли неохотно... Увлекающийся, не ведающий страха, Верещагин всегда уходил далеко вперед один-одинешенек...

Раз у порога сакли он сцепился грудь с грудью со здоровенным халатником, который ударом тяжелого кистеня оглушил художника, и — не подоспей на помощь услужливый штык набежавшего случайно солдата — только б и видели Верещагина!

Но неисправимый Василий Васильевич нисколько не охладел от этого опасного урока и продолжал вместе с начальником гарнизона, полковником Назаровым водить на штурм защитников цитадели. И когда в недобрую минуту его окружили и стали колоть пиками звероподобные туркмены — единственной мыслью было:

— Батюшки, — отнимут ружье — срам выйдет!

Но, к счастью, ружья не отняли.

\* \* \*

В сорок раз превосходили наших туркмены численностью, и мудро ли, что ценою громадных потерь, правда, им удалось овладеть частью старой крепости. И тотчас же у башни затрепетал позорный для русских флаг... Дикарей отбили, отбросили назад, но флаг, словно дразня, продолжал трепетать в ярком солнечном воздухе...

— Снять его! — крикнул Назаров.

Никто не шелохнулся. Идти к открытой, осыпаемой выстрелами башне, — значило искать смерти, шутить с нею... Молча, не говоря ни слова, двинулся Верецагин к башне... Вот

он почти у знамени... Снизу стреляли по благодарной мишени. Меткие пули свистели, жужжали вокруг художника, обсыпая его щебнем и штукатуркой... Но Верещагин, как ни в чем ни бывало, — преспокойно взял древко и спустился со своим трофеем к изумленным и пристыженным солдатам.

А в свободные от боевой страды часы Василий Васильевич писал этюды, — смуглого афганца, типичных солдатиков, тамерлановой мечети, пленявшей его своей величественной причудливой архитектурой.

По словам Верещагина, наши никогда не позволяли себе бесполезных жестокостей.

Раз — это исключение — он видел, как одному из тяжело раненых туркменов солдат воткнул в глаз штык и повернул его так, что в черепе скрипнуло... Василий Васильевич не выдержал и ударил солдата...

\* \* \*

Из отважного воина Верещагину выпадало превращаться в чернорабочего. Да еще в какого чернорабочего!

Когда стало тише, — с минуты на минуту ждали генерала Кауфмана, — Назаров решил

сделать вылазку для уборки трупов. Под знойным солнцем они быстро, чуть ли не мгновенно разлагались и грозили повальной заразой. Всех, в том числе и Верещагина, тошнило от невозможного смрада... Но Василий Васильевич погружал в разбухшие, кишащие исполинскими червями тела штык и проталкивал их до большого арыка (канавы).

У стены вздымалась горой разбухшая серая лошадь. А еще вчера Верещагин любовался и ею, сильной, красивой стройной, и всадником. Обоих подстерег заряд картечи...

Когда лошадь тронулась с места, она лопнула по швам, и разлезлась вся, как кисель. Одни упали в обморок, другие корчились в судорогах, а пошатнувшийся Верещагин шлепнулся прямо в шевелящуюся жидкую мякоть лошадиного трупа...

И это не кошмарная, созданная горячечной фантазией, сказка, — а беспощадная неумолимая проклятая правда, зафиксированная документально!

Оказывается, есть ощущения, — Верещагин перестрадал их — для которых на бедном человеческом языке нет названия, нет слов,

нет даже звуков...

Сделав туркестанскую кампанию, Верещагин исследовал еще дикую, почти девственную границу Китая и помчался в Мюнхен, где написал целую серию картин, создавших ему сразу громкую популярность идейного, глубоко самобытного художника-мыслителя.

Его выставки в Петербурге, Москве и во всех европейских столицах напоминали какое-то победное триумфальное шествие. Не успели отзвучать в заграничной прессе дружные хвалебные гимны картинам Верещагина и его таланту, как вспыхнула русско-турецкая война.

Василий Васильевич почувал новый материал для своего "жестокого" дарования, новые кровавые приключения, до которых он был большой охотник, и, оставив Париж, через несколько дней очутился на Дунае. Здесь он встретил Скобелева, молодого, блестящего генерала, которого помнил по Туркестану скромным гусарским штаб-ротмистром. Встретились старые знакомцы приятелями.

В распоряжение Верещагина был дан казак, и художник принял горячее, живейшее

участие в действиях скобелевского отряда. Вместе лейтенантом гвардейского экипажа Скрыдловым на его миноносце "Шутка" он ездил взрывать турецкие броненосцы.

Благодаря только разве чуду, не погибли оба беззаветные храбреца. Их засыпали жарким свинцовым дождем отовсюду. С близкого берега по "Шутке" стреляли черкесы и башибузуки, вооруженные превосходными винтовками Пибоди. По это были пустяки в сравнении с тем жестоким, убийственным огнем, которым встретили Верещагина со Скрыдловым турецкие броненосцы и миноносцы. Пули и картечь буквально изрешетили "Шутку", и погрузившаяся на две трети в воду, она ежеминутно грозила пойти ко дну... Верещагин был ранен в бедро, Скрыдлову прострелили ноги, обожгли и контузили руку...

\* \* \*

Верещагин познакомился с начальником штаба скобелевского отряда, капитаном Куропаткиным. Художник дает сжатую, выпуклую характеристику Куропаткина:

"Это был, бесспорно, один из лучших офицеров нашей армии. Храбрый, умный и вме-

сте чрезвычайно хладнокровный. Скобелев ценил и уважал его, хотя часто спорил. И в этих спорах рассудительный начальник штаба почти всегда оказывался более правым, чем стремительный, увлекающийся генерал. В самые опасные моменты, когда все кругом цепенело, Куропаткин хранил самообладание и оставался спокойным".

Когда пушечные выстрелы турок взорвали во время шипкинского перевала зарядный ящик, и засыпанный землей, камнями, осколками гранат, Куропаткин упал над пропастью, тяжело раненый, первой его фразой было:

Послать ординарца, чтоб приказал усилить огонь на правом фланге...

И тотчас же глубокое обморочное состояние надолго охватило его.

В то время, как под траурное похоронное завывание зимних балканских вьюг гибли от мороза, холода и недостатка провианта целые роты, батальоны, скобелевский отряд находился в отличном состоянии. И все это благодаря Куропаткину, который своевременно позаботился, чтоб у солдат были теплые на-

брюшники и просаленные портянки. Кроме того, отряд сопровождался обозом с запасом вареной говядины, сухарей и чаю.

\* \* \*

Этюды свои писал Верещагин при самых невозможных условиях. То портились художественные принадлежности, то терялись ящики с красками, то исчезали этюды. Во время стоянки у Дуная Верещагин слетал в Париж купить холста и красок. Отлучка вместе с дорогой заняла, около трех недель. Во время переправы через Дунай, Василий Васильевич примостился на берегу писать. Кругом, в нескольких шагах, падали с шипением в воду и разрывались турецкие гранаты.

— Уходите отсюда: вы — сумасшедший, — советовали художнику доброжелатели.

— И не подумаю, — отвечал он, дымя сигарой и кладя на дощечку мазки. — Где я увижу такие интересные световые эффекты? А врать отсебятину я не хочу и не могу.

С Верещагиным считались. И Скобелев, и Радецкий, и бравый кавалерийский генерал Струков охотно принимали его советы. Ему поручали то казачью сотню, то драгунский эс-

кадрон для тех или других рискованных, требующих большой сообразительности, рекогносцировок. Верещагин выполнял их блестяще, и главнокомандующий, Великий Князь, несколько раз при всех благодарил его. Эти благодарности выразились реально в пожаловании художнику золотой шпаги.

Верещагин находит большую моральную разницу, между Скобелевым туркестанским и Скобелевым — героем русско-турецкой войны. Там, в Средней Азии, военные репортажи Скобелева не были чужды элемента фантастического. Он доносил об истреблении несуществующих шаек бухарских разбойников, доносил, что Хива была взята ценою жаркой битвы, в то время как на самом деле городские власти смиренно выходили к победителям с хлебом и солью.

Иным человеком является Скобелев на Балканах. Его репортажи полны правды. Даже в самых ничтожных фактах — ни тени искажения. Только с виду Скобелева, был холоден и нечувствителен к потерям войска. На самом же деле Верещагину не раз удавалось замечать на глазах "белого генерала" слезы, когда

он осматривал усеянное русскими трупами поле догоревшего сражения.

\* \* \*

В присутствии Верещагина и даже очень близком, — они были почти рядом, — Куропаткин получил вторую серьезную рану. Художник набрасывал в альбом открывавшуюся часть шипкинской долины. Он поднял глаза, и видит, как ведут под руки смертельно бледного начальника штаба. Пуля ударила его и левую лопатку, скользнула по кости и вышла через спину. По словам Верещагина, это был самый опасный, самый губительный огонь, который ему доводилось когда-либо переживать. Это была сплошная барабанная трескотня выстрелов. Люди и лошади, убитые наповал, валились ежеминутно и устилали почву трупами.

Куропаткину перевязали наскоро его рану, и на носилках понесли в Габровский госпиталь. Приподнявшись на локте, Куропаткин сказал:

— Советую поскорее выбить турок во что бы то ни стало. Иначе они перегубят много наших.

Скобелев заплакал, но быстро оправился.

— Полковник граф Келлер, вы вступите в должность начальника штаба.

— Вот и производство вышло, — пошутил удалявшийся с носилками Куропаткин.

— Незаменимая потеря, — прошептал мрачно Скобелев. — Слава Богу, что временная. Такой молодец быстро станет на ноги.

Симпатичными красками рисует Верещагин фигуру военного корреспондента Немировича-Данченко.

Энергичный, выносливый, обладающий железным здоровьем, талантливый писатель и чудный собеседник, Василий Иванович поспевал всюду на своей маленькой, бодрой лошадке, с которой ни за что не хотел расстаться.

\* \* \*

Верещагин первый подал мысль идти на Адрианополь, откуда, рукой подать до Царь-Града. Это движение было одобрено и главнокомандующим, и Скобелевым. "Белый генерал" послал на Адрианополь большой кавалерийский отряд с одной батареей под начальством Струкова. Сопровождал Струкова, ко-

нечно, и душа этого дела — Василий Васильевич.

В дороге продовольствие не отличалось роскошью. У Германлы иссякли последние запасы. Тогда Верещагин, недолго думая, схватил безмятежно пасущегося барана и приторочил его к седлу. Офицеры трунили над заботливым художником, что не помешало им, однако, на первом же привале дружно уничтожить жирного барашка до последней косточки.

Струков и Верещагин имели свидание в железнодорожном поезде с турецкими уполномоченными относительно заключения мира, — двумя пашами: министром двора Намиком и министром иностранных дел Севрером.

Им доложили о приезде русского генерала. Струков пошел в вагон, отрекомендовавшись начальником авангардного отряда, а Верещагина представил как своего личного секретаря. Небритые, всклокоченные, в косматых бурках, оба русские воины имели дикий вид, и, невзирая на их отличный французский язык, турецкие министры смотрели на них с изумлением.

Намик начал с решительной для турецкой армии битвы под Шейновом. Севрер-паша перебил его:

— Скажите откровенно, дружески, неужели наши не могли больше держаться?

— Не могли, паша, уверяю Вас, — ответил Верецагин и вынул записную книжку. Там он, с ловкостью лучшего офицера генерального штаба, начертил план Шей-нова, вывел турецкие позиции и также позиции Радецкого, Скобелева и Святополка-Мирского. Потом он объяснил, как последние два генерала обошли турок и заставили их положить оружие.

Турки застонали и отвернулись, чтоб скрыть слезы.

Этот чертеж и по сей день хранится в одной из записных книжек Верецагина.

\* \* \*

В Германлы струковский отряд пробыл несколько дней. Верецагин торопил генерала сделать поскорей быстрый молодецкий набег на Родосто и сорвать миллионную контрибуцию с богатого города. Но Струков колебался, и администрация Родосто, предупрежденная лазутчиками, успела увезти свою казну на су-

дах в открытое море.

В Германлы Струков поручил Верещагину удерживать солдат от грабежа, и заняться разоружением обывателей. Большой любитель восточного оружия, художник осмотрел несметное количество кривых ятаганов, осыпанных камнями сабель и выложенных хитрыми инкрустациями пистолетов и ружей. Кое-что, в том числе и арабские мушкетеры с тонкими, металлическими прикладами, Верещагин отобрал себе, как материал для будущих картин.

Увы! В ближайшую же ночь нагруженная драгоценным оружием телега была украдена, даже вместе с влекущими ее круторогими волами.

Вот как рассказывает художник о приеме адрианопольского посла:

"Пребуинный грек, вооруженный до зубов и чуть ли не под хмельком; он объяснил, что послан новым губернатором предложить русскому отряду занять город.

— Какой такой новый губернатор? — спросил Струков.

— Ну! когда военный губернатор взорвал

замок и ушел с гарнизоном, султан приказал Фасу быть губернатором — кого же еще вам нужно!

Этот посланный своего губернатора держался так дерзко, что я попросил у Струкова позволения переговорить с ним постороже.

— Пожалуйста, — отвечал он. Во весь размах руки я вытянул буяна нагайкою — он ошалел, и впервые встал смирно и почтительно.

— Как ты смеешь так говорить с русским генералом, а? Поди скажи твоему новому губернатору, что генерал его не признает и придет сам назначить губернатора. Марш!

— Однако, строги же вы, — сказали мне Струков и офицеры.

— Попробуйте говорить с этими головорезами иначе, — отвечал я, — разве вы не видите, что это рассчитанная дерзость".

\* \* \*

К Струкову привели двух албанцев разбойников, которые, — по словам болгар, — вырывали из утроб матерей младенцев. Их крепко связали спинами друг к другу и бросили на землю. Мрачно смотрели они исподлобья на

окружившую их толпу.

Верещагин предложил Струкову повесить их. Но генерал уклонился, сказав, что не любит расстреливать и вешать в военное время. Он передаст этих двух молодцев Скобелеву, а тот пускай делает, что хочет...

— Хорошо, ответил Верещагин, — я попрошу Михаила Дмитриевича: от него задержки вероятно не будет.

— Что вы, Василий Васильевич, сделались таким кровожадным, — заметил Струков.

Тогда Верещагин признался, что еще не видел повешения, и очень интересуется этой процедурой, которая будет совершена над разбойниками. Ему и в голову не приходило, что можно простить таких злодеев.

Вечером приехал Скобелев. Верещагин к нему.

— Повесьте этих разбойников.

— Это можно, — спокойно ответил Скобелев, и приказал нарядить полевой суд над схваченными албанцами.

Верещагин думал, что увидит процедуру повешенья и передаст ее на полотне. Но Струков упрямил Скобелева не убивать разбойни-

ков. Просил, как о личном одолжении.

Верещагин написал их связанными. Он так и не понял, какое сентиментальное чувство побудило миловать албанцев, разбойников, без зазрения совести губивших болгар, когда жизнью наших жертвовали за тех же болгар тысячами.

\* \* \*

В день заключения сан-стефанского мира, — художник умчался в Париж писать свои картины. На театре затихнувших военных действий ему нечего было больше делать...

#### IV

В круглом конференц-зале Академии Художеств чествовали память трагически погибшего Василия Васильевича Верещагина. А назад лет тридцать пять, в этом же самом зале, совет мало что не предавал Верещагина анафеме.

Tout passe, tout casse, tout lasse...

Декоративная сторона блистала скромностью. Маленькая статуэтка пишущего этюд Верещагина, работы И. Я. Гинсбурга, небольшая картина кисти В. В. "Милосердие", которую он подарил Красному Кресту, и два этюд

да, сделанных им из окна мастерской Гинсбурга во время лепки портрета. Один холстик размазан совершенно, ничего не разберешь. Когда Верещагин набрасывал его, подошел Гинсбург:

— Это очень мило.

— Да, мило? вы находите? — переспросил Василий Васильевич и провел по сырой живописи сверху донизу подошвой. Таким образом, получился еще следок В. В., удлинённый, неправильный, но все же следок.

Сюжет "Милосердия" незатейлив. Раненый диктует "сестрице" письмо на родину. Лицо хорошенькой сестрицы очень экспрессивно.

К девяти часам собралась публика, и начались речи.

Первым говорил вице-президент Императорской академии художеств, граф И. И. Толстой. Коснувшись необычайной популярности Верещагина, граф сделал беглую характеристику Василия Васильевича, останавливаясь на психологических противоречиях, уживавшихся в крупной и сильной натуре великого художника. Доброта, высокая, альтруистическая доброта шла рука об руку с жесто-

костью. Ибо надо быть жестоким, чтобы спокойным, объективным оком созерцать кулисы войны со всеми ее леденящими душу кровавыми кошмарами.

По словам графа. Верещагин ненавидел войну и вместе любил ее. Нельзя всю свою жизнь посвятить изображению того, чего не любишь. А ненависть Верещагина, к войне сказалась ярко в его отрицательном к ней отношении. Безвременная гибель художника вдвойне печальна: во-первых, жаль, что угас такой великий цельный дух; во-вторых, благодаря смерти Верещагина, мы не увидим цикла, картин из такой интересной и вместе ужасной войны, как русско-японская.

Умер Верещагин, как ему нужно было. Умер на своем сорокалетнем посту. Было бы странно, если бы он скончался тихо и мирно в постели, среди домашней обстановки.

Свою речь вице-президент закончил следующими словами:

— Пожелаем успокоения его духу в самой беспокойной стихии...

\* \* \*

Графа сменил бывший товарищ министра

финансов В. И. Ковалевский.

Владимир Иванович сделал оговорку, что несколько затрудняется характеризовать Верещагина, не будучи ни художником, ни художественным критиком, а принадлежа к области, имеющей с искусством очень мало общего. Оговорка Ковалевского оказалась напрасной: речь его была стройна, последовательна и говорила о знакомстве с предметом.

Всю свою жизнь Верещагин был борцом за дорогие светлые идеалы человечества. И теперь, на шестьдесят втором году он покинул семейный очаг, близких людей и уехал на Дальний Восток. Он сопровождал русских борцов в море, чтобы измерить глубину человеческих страданий в пучинах обманчивой таинственной стихии.

Смерть Верещагина, — какая в сущности ирония судьбы! Он хотел, горел желанием познакомить Россию, Европу, человечество с широкой панорамой японской войны, и не мог, сделавшись жертвой этой же самой войны.

Ковалевский отводит Верещагину одно из первых почетных мест в стане великих бор-

цов. Верещагин — один из типичнейших представителей богатого русского народного духа. Он возвеличил слою Родину, как возвеличил ее Пушкин. Какой-то критик называет Пушкина, "всечеловеком". В живописи, в искусстве всечеловеком является Верещагин. Художественная критика называла Верещагина "жестокой кистью". Иной она и не могла быть. Зрелище войны нельзя изображать слащаво и нежно. Но при всей жестокости своей кисти, Верещагин не был тенденциозным. Он был объективен, и правдиво, честно отражал в своих картинах то, что наблюдал и видел.

Своей речью В. И. Ковалевский не думает вплести новый венок во славу Верещагина. Василий Васильевич сам обессмертил себя еще задолго до кончины. Венки давно были, много венков, прекрасных и пышных. В большинстве верещагинских картин В. И. Ковалевский видит апофеоз русского солдата. "На Шипке все спокойно", "Забытый". Нет, Россия никогда не забудет этого мощного и вместе скромного солдата, что разметался на пустынном берегу, одинокий, неподвижный, окруженный слетевшимся алчным вороньем.

Обогащая родное искусство, родное самосознание, Верещагин не обогатился сам. Его личные средства были всегда очень скромны. Львиную долю своих гонораров он отдавал на благотворительность. Он всегда был поборником женского образования. Он помогал женским медицинским Курсам, только что народившимся, неокрепшим еще материально. Пять тысяч со сбора туркестанской выставки он пожертвовал в новгородское земство для народного образования. Пожертвовал с тем непременным условием, чтобы девочки учились наравне с мальчиками. Все, что у него было, он отдал России. Отдал ей и самое дорогое — свою жизнь...

В заключение В. И. Ковалевский коснулся настоящего вечера, сбор от которого предназначается детям и вдовам погибших героев. Дети — это первые жертвы войны, безмолвные, незаметные. Заботиться о них — священный долг каждого русского человека, любящего свою родину и защитников ее.

\* \* \*

На кафедре появилась фигура И. Е. Репина, Черный фрак, длинные волосы, вдохновенное

лицо. Публика приветствовала знаменитого художника аплодисментами. Слова Ильи Ефимовича настолько колоритны, что в передаче "своими словами" они будут бледны. На этом основании попытаюсь хоть приблизительно восстановить его речь.

— Ах, знаете, господа, Верещагин — такой гигант, что, приступая к его характеристике, я испытываю неловкость. Когда смотришь на этого колосса, все кажется вокруг таким маленьким, ничтожным... Я — художник и буду говорить о нем, как о художнике, не касаясь его как общественного деятеля. Всякий раз, когда я вспоминаю Верещагина, я вспоминаю — Репин улыбается — карикатуру в юмористическом журнале: на него ведь много рисовали карикатур — он был страшно популярен... Верещагин мчится на локомотиве, в каждой руке у него по громадной кисти, и он красит ими воздух... Это очень меткая карикатура. Верещагин любил размах. В то время как мы работаем, мучимся над одной картинкой, сомневаешься, не доверяешь себе, он быстро писал целые серии, целые коллекции. Ах, какой это был успех! Я ничего подобного

не запомню. У нас его сначала не признавали, но в Париже, в Париже — он там прогремел сразу. Все это было так необыкновенно! Приезжают наши в Париж.

— Верещагин, бывший офицер? — Ничего особенного...

— Как ничего особенного? Посмотрите его в салоне... Какой свет! А изразцы? — Настоящие изразцы!

Илья Ефимович останавливается, делает продолжительную паузу, вынимает из кармана листочки, смотрит, надевает пенсне, откладывает листочки и продолжает:

— На все свое время. Что бы ни говорили, — это величина. Он — самобытен, он никогда, никому не подражал, он сам... Ах, как он увлекался! Он не шел за новаторами. Верещагин остался Верещагиным. Что такое новаторы? Они воображают себя новаторами, а на самом деле повторяют чужое. Все это было. Какой у них жалкий, крохотный масштаб! — и на кончике пальца, Илья Ефимович отметил крохотность масштабика новаторов.

— У Верещагина техника рядом с идеей. Вспомните его туркестанские картины. Во-

сток, деспотизм... Жалкий бесправный народ. Это даже не мясо, а тряпки, целые вороха, грязных тряпок. У Гинсбурга Верещагин рассказывал, что на войне не умирают в каких-нибудь таких живописных позах, а просто, совсем просто. Идешь, видишь какой-то свернувшийся комочек, запекшаяся кровь — это убитый... До него не было солнца. Он первый у нас начал передавать свет. Самые художественные его картины — это средняя Азия. Он не мог сосредоточиться. Лица у него не играют роли, он не занимался ими. Хотя нет — иногда бывало: его опиумоеды. Какая там психология! Потом у него есть еще одна картина: Турки победили и одеваются в наши мундиры. Какой-то араб напялил на себя пальто, кажется генеральское, и такая глупая самодовольная, улыбающаяся рожа. Это очень хорошо! Я не знаю, почему эта картина не попала в Третьяковскую галерею.

Ах, какой это гигант! Его можно сравнить с Наполеоном, Петром Великим. Говорят, он был жесток — может быть, хотя это не жестокость. Это сложность натуры. Помните, когда Петр Великий казнил Гамильтон — красави-

цу. Ей отрубили голову. Петр поднял ее, поцеловал и начал объяснять народу анатомию: какие жилы, вены. Это — не жестокость. Также и Верещагин. Привели пленных башибузуков. Он обращается к Скобелеву, или Куропаткину:

— Нельзя ли повесить этих мерзавцев?

Он был против войны, а поехал со Скрыдловым взрывать турецкий броненосец. Это сложность натуры: много противоречий. Он любил все героическое: например, его Индия. Как все величаво, какой там свет! Можно даже подумать, что все это не на нашей планете. Его теперь критикуют, делают переоценки. Ах, это такие ничтожные переоценки...

\* \* \*

Еще не смолкли продолжительные рукоплескания по адресу Репина, — на кафедре уже был маленький, смуглый и нервный скульптор Гинсбург. По словам его, редко в ком гармонировала так внешность с внутренним миром, как это было у Верещагина. Осанка, поступь, взгляд, благородство энергичных черт. Гинсбург, придя впервые на верещагинскую выставку, сразу, не увидев портрета,

узнал в толпе хозяина, Сам подвижный в достаточной степени, скульптор удивляется необычайной подвижности Верещагина. Сегодня Василий Васильевича — в Париже, а через месяц — уже на Гималаях, а там смотришь — уплыл в Америку. Ему не сиделось на месте. Он скучал в обычной буржуазной обстановке. Его тянуло к необычным людям, к необычной природе. С трудом Гинсбург, при помощи И. В. Стасова, уговорил Верещагина позировать себе для портрета-статуэтки.

— Хорошо, — согласился Василий Васильевич, — я могу вам дать четыре дня.

Начались сеансы. И вместе с ними, вместе с удовольствием начались для Гинсбурга мучения. Верещагин позирует на ногах. Позирует стоически, несмотря на сильно раненую осколком гранаты икру. Гинсбург лепит, наконец, устает и просить пощады:

— Отдохнем, Василий Васильевич.

— Работайте!

— Я изнемог, обессилел, — я лепил вас пять часов!

— Ничего не значит, работайте! Приходилось работать...

Во время сеансов Верещагин рассказал Гинсбургу много интересного. Рассказал, между прочим, как в Азии его однажды чуть не убил курд-натурщик.

— Мне нужен был этюд смеющегося. Я нашел курда и просил его смеяться. Пишу, увлекся, смотрю, он уже не смеется.

— Смейся, — говорю.

Смеется через силу.

Прошло минут пять. Вновь исчезла гримаса смеха.

— Смейся!

Курд начал смеяться болезненно, истерически и бросился на меня кинжалом. Едваобразумил его.

Верещагин был поборником натурализма; Гинсбург лепил при нем мальчика со вздутым животом.

— Как вы думаете, Василий Васильевич, уменьшить ему живот?

— Боже вас сохрани! лепите какой есть. Это чрезвычайно типично: чувствуешь, что желудок ребенка набит картофелем или кашей.

Верещагин советовал Гинсбургу вылепить

Суворова. Не Суворова-полководца, а великого русского человека.

— На Марсовом поле — разве это Суворов? Это — какой-то греческий недоносок!.. Сделайте вы Суворова без всякой трескучей бутафории, лживой, ненужной, но что в его хилом, тщедушном теле угадывалась духовная мощь!

Маленького Гинсбурга сменил восьмидесятидвухлетний седобородый богатырь В. В. Стасов. Час с четвертью он читал по тетрадке длинную, в несколько печатных листов, биографию Верещагина. Было утомительно, скучно и неубедительно. Ни одной оригинальной мысли, ни одного живого образа. Если не ошибаюсь эта же самая биография была помещена г. Стасовым в "Вестнике изящных искусств", кажется за 1884 год.

Пятнадцатиминутный антракт. Электричество вдруг погасло, и при помощи волшебного фонаря на экране сменяли друг друга Верещагинские картины, портреты его и студии парижская, московская, мюнхенская. Руководил фонарем и давал соответствующие объяснения библиотекарь академии художеств Ф.

Г. Бернштам.

Были две картины, уничтоженные самим автором: "Забытый", о котором упомянул В. И. Ковалевский, и "Поклонение баче", где несколько сартов, с чувственными животными лицами, ухаживают за красивым, нарядным мальчиком. Это одна из самых психологических композиций Верещагина.

Далеко не все петербургские художники пришли помянуть Василия Васильевича. Громадное большинство отсутствовало. Как-то разобщены у нас художники, и нет между ними прочной связи. Разве мыслимо что-либо подобное в Париже, если бы на войне погиб, так трагически Невилль или Детайль? Наверное, все, начиная с заслуженных мэтров, и кончая самыми юными учениками, почтили бы их память.

Обидное равнодушие!

Ответственный редактор *Л. Иванова*  
Верстальщик *Н. Сычева*

Издательство "Директ-Медиа" 117342,  
Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1 Тел/факс + 7  
(495) 334-72-11 E-mail: [manager@directmedia.ru](mailto:manager@directmedia.ru)  
[www.biblioclub.ru](http://www.biblioclub.ru) [www.directmedia.ru](http://www.directmedia.ru)

Отпечатано в ООО "ПАК ХАУС" 142172, г.  
Москва, г. Щербинка, ул. Космонавтов, д. 16

# Примечания

19 мая 1907 г. группа эсеров-максималистов убила брата С. А. Толстой, инженера путей сообщения Вячеслава Андреевича Берса.

[^^^]

В письме, отправленном в марте 1881 г. Александру III, Толстой призывал его помиловать приговоренных к смертной казни революционеров-первомартовцев.

[^^^]

О Ратгаузе и отношении к нему Толстого см.  
ком. к интервью 1906 года.

[^^^]

А. Ф. Кони гостил в Ясной Поляне 1–4 апреля 1904 г. Тогда и могло происходить чтение глав "Хаджи-Мурата".

[^^^]

Ошибка: Софья Андреевна называла портрет "своим", так как заказала Крамскому копию для себя.

[^^^]

## 6

Константин Петрович Победоносцев (1827–1907), обер-прокурор Синода, был ярким врагом Толстого и писал Александру III, что под влиянием сочинений писателя "умственное возбуждение" "угрожает распространением странных, извращенных понятий о вере, о церкви, о правительстве и обществе" (см.: Письма Победоносцева Александру III, т. 2, с. 253).

[^^^]

Петр Александрович Валуев (1814–1890), в 1861–1868 гг. занимал должность министра внутренних дел.

[^^^]